
ТАЙНИКОВСКИЙ
БЮРО НЕВОЗМОЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
ДОСТАВИТЬ
В НИКУДА

Бюро невозможных поручений

Тайниковский

Доставить в никуда

«Тайниковский»

2026

Тайниковский

Доставить в никуда / Тайниковский — «Тайниковский», 2026 — (Бюро невозможных поручений)

Гельта нет. Его вычеркнули из королевских реестров, убрали с карт и объявили несуществующим. Но по ночам за невидимой границей всё ещё горят огни — и кто-то ждёт посылку.Рик Вельд берётся доставить в Гельт запертую шкатулку. Вскрывать её нельзя. Опоздать — тоже. А проводник, переписчик Виллем Тарн, уверяет, что сам написал странную записку, которую не помнит, и восемнадцать лет хранит чужую тайну.За белыми столбами не действует коронный закон. Там есть город, которому отказали в праве существовать, и люди, которым всё ещё нужно жить, спорить и выбирать, кому доверить будущее. Чтобы вручить посылку, Бюро невозможных поручений придётся выяснить, что именно спрятано в шкатулке и какую цену заплатит тот, кто её откроет.«Доставить в никуда» — история о невозможном поручении, упрямом городе и тайнах, которые однажды требуют ответа.

© Тайниковский, 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 14
Глава 3 23
Глава 4 32
Глава 5 42
Г 52
Конец ознакомительного фрагмента. 53

Тайниковский
Доставить в никуда

Глава 1

Он не сел.

— С вашего позволения, я постою, — произнес он. — Я шёл восемнадцать дней. Если сяду, вам придётся меня поднимать, а у вас, я вижу, на четверых три здоровые руки.

Он сосчитал верно. У Бора левая лежала в лубке, у меня правая была замотана тряпицей до запястья. Никс держал веник, но веник он уже прислонил к стене.

Человек был стар той старостью, которая начинается не с седины, а с плеч. Лет под шестьдесят. Сутулый, узкий, с длинным лицом и очень чистыми руками. Плащ промок, сапоги были в глине по самые ушки, и глина эта была красная. У нас такой нет: в Ортене она серая, по Сойме жёлтая. А руки он где-то отмыл, до розовых костяшек, и ногти остриг коротко и ровно, как стригут те, кто боится посадить кляксу.

— Имя, — сказал я.

— Тарн. Виллем Тарн. Переписчик купчих и закладных, Третий плёс, Мучной ряд, дом вдовы Хаас, вход со двора.

Он диктовал. Не называл себя, а диктовал, с остановкой после каждой запятой, чтобы успели записать. Я записал.

— Кто вас прислал?

— Я уже ответил: написали.

— Покажите.

Он расстегнул плащ. Под плащом оказался сюртук, чёрный, вытертый на локтях до блеска, и на шее, на сером шнурке, два ключа: побольше, с тесской бородкой, и совсем маленький, медный, какими запирают детские копилки. Записку он достал не из шкатулки. Из нагрудного кармана, из клеёнчатого бумажника, где она лежала между двумя чистыми листами, как лежит засушенный цветок.

— Вынул сегодня утром, — произнес он. — С вашего позволения, руками её лучше не мять. Я не знаю, что это такое, и предпочёл бы, чтобы она дожила до того, кто знает.

Листок был в четверть обычного, желтоватый, плотный, с обрезанным краем: такой бумагой в конторах прокладывают книги, чтобы не отпечатывались чернила. На нём стояли три строки. Буквы мелкие, прямые, каждая отдельно от соседней, будто писавший не доверял связкам.

«На Старых Весах, двенадцать-бис, берутся за невозможное. Отнеси им. Сам не дойдёшь».

Подписи не было.

— Почерк узнаёте? — спросил я.

— Узнаю.

— Чей?

— Мой.

За моей спиной скрипнула половица: Адель подошла ближе.

— Вы это написали?

— Нет. Я этого не писал, — он смотрел на листок с тем выражением, с каким смотрят на собственную подпись под чужим долгом. — Я сорок лет пишу каждый день и знаю свою руку, как мельник знает свой жёрнов. Это моё «д» с коротким хвостом. Моё «ж», я его вывожу в три приёма — так меня учили. Бумага из моего бумажника: вот, здесь не хватает листа,

край совпадает. Чернил у меня при себе не было. Чернильница осталась в Плёсе. И вчера вечером, когда я запирал шкатулку, записки в ней не лежало. Я заглядываю в неё каждый вечер. Восемнадцать лет.

— А ключ?

— На мне. Я сплю на спине.

Никс за моим плечом коротко выдохнул носом. Я знал, что он думает: человека, который спит на спине с ключом на шее, обнести легче лёгкого, и сделать это может любой, кто три года проходил в учениках у Щегла. Никс оказался в этом доме три недели назад именно таким способом.

— Где ночевали?

— «Под Третьей». На Арочной площади, в самом углу, за хлебным рядом. Четыре петли за койку. Комната на одного, окно во двор, дверь на засове, засов я проверил.

— Почему там?

— Дёшево. И от заставы близко, а я, как уже имел честь доложить, шёл восемнадцать дней.

«Под Третьей» я знал. Дом старше площади: нижний этаж сложен из тёмных блоков, без раствора, и пол в погребе, говорят, тот же, что под аркой. Хозяин гордится и берёт за это лишнюю петлю с приезжих.

Адель уже надела очки. Левое стекло у неё пересекала трещина, от оправы к оправе, и смотрела она поэтому чуть боком, по-птичьи.

— Дайте сюда. Я не помну.

Она взяла листок за края, двумя пальцами, поднесла к окну. Повернула. Провела ногтем по сгибу и показала мне ладонь.

Три крупинки. Серые, круглые, как маковое зерно.

Я не стал спрашивать. В кабинете у неё, на чёрном стекле, три недели лежали десять таких же: с письма, которое покойный землемер не мог написать, потому что ему нечем было держать карандаш. И в том письме тоже была строчка про наш дом. И её тоже писал не он.

«А потом — что принесут. К вывеске. Сам не ищи».

Принесли. На второй день. Я даже вывеску покрасить не успел.

— Игла, — сказал я.

— Сейчас, — она достала из кармана трубку, подержала над листком. Игла висела ровно, как отвес. — Ничего. Как тогда. Меры в этом нет ни щепоти.

— Госпожа — исчислитель? — спросил Тарн.

— Бывший адъюнкт. Рейн. Совладелица.

— Тогда, с вашего позволения, один вопрос. Это можно подделать? Почерк. Расчётом, солью, чем угодно, чем вы там пользуетесь.

— Расчётом можно снять копию с готового. Написать новое чужой рукой нельзя: контуру неоткуда взять нажим. Вышло бы ровно, как гравюра. А здесь у вас «т» с нажимом, а «о» без, — она вернула ему листок. — Это писала рука. Или то, что работает как рука.

— Благодарю. Я опасался именно этого ответа.

Он убрал записку обратно между чистыми листами, застегнул бумажник, застегнул сюртук. Пальцы у него не дрожали. Дрожало колено, левое, под мокрым плащом, мелко и часто: так дрожит нога у лошади, которую перегнали.

— Никс. Стул.

— Он сказал, что постоит.

— Стул. И хлеба. И что там осталось от Мартиного.

— От Мартиного осталась корка, я её…

— Никс.

Он принёс стул. Человек по имени Виллем Тарн посмотрел на стул, на меня, сказал: «Под вашу ответственность» — и сел. Сделал он это так, как складывают плотницкую мерку: в три приёма.

* * *

Шкатулка стояла на краю моего стола, на книге расходов.

В длину она была с локоть без ладони, в ширину вдвое меньше. Дуб, морёный дочерна, по рёбрам окован железной полосой, полоса на заклёпках. Замок врезной, скважина под бородку в два зуба. Ручки нет. На крышке вытерто светлое пятно, с ладонь: тут её брали восемнадцать лет, каждый раз одинаково.

— Что в ней? — спросил я.

— Этого я вам не скажу.

— Тогда вы зря садились.

— Позвольте, я изложу, а вы решите, зря или нет, — он положил руки на колени, одну на другую. — Мне нужно, чтобы эта шкатулка была доставлена в город Гельт и вручена там городскому голове. В собственные руки. Запертой, как сейчас. Не позднее шестого числа Двенадцатого месяца, до закрытия весовой.

Позади меня что-то стукнуло об пол. Веник всё-таки упал.

— Гельта нет, — сказал Никс.

Он сказал это без вызова, как говорят «на улице дождь». Тарн повернул голову и посмотрел на него в первый раз: до этого Никс был для него тем, кто принёс стул.

— Совершенно верно, молодой человек. Города Гельта нет в Королевском реестре с шестого числа Двенадцатого месяца тысяча восемьдесят шестого года. Его нет на картах коронной печати с издания восемьдесят седьмого. Соляной тракт в подорожных кончается у Затонов. Почта на это имя не принимается. Мостов через Белую нет, я проверил лично. — Он помолчал. — Именно поэтому я здесь, а не на почте.

— А люди?

— Люди есть.

— Откуда знаете?

— Дым, — ответил Тарн. — С последнего холма перед Чертой в ясную погоду виден дым. Много. Варницы работают.

Никс поднял веник, поставил в угол и остался там стоять, засунув руки в карманы. Он ничего не добавил. Я отметил это: за три недели, что я его знал, Никс ни разу не упустил случая что-нибудь добавить.

— Вы там были, — произнес я. — У этой Черты.

— Девятого числа этого месяца. Я вышел из Плёса двадцать четвёртого Девятого, почтовой фурой до Ладеня, дальше с обозом, дальше пешком. Тракт за Затонами не чинят, но он есть. На шестой версте за последней варницей стоят вехи. Белые столбы, в рост, через каждые двадцать шагов, вправо и влево, сколько видит глаз. Между ними натянуто то, чего не видно. Я переступил.

— И?

— И через четверть колокола ко мне подъехали трое верховых в сером, с жёлтым кантом. Очень вежливые. Спросили подорожную. Спросили, знаю ли я, что нахожусь в месте, которого не существует, и что по этой причине на меня не распространяется защита коронного закона. Я ответил, что знаю, я сам его переписывал. Тогда они перестали быть вежливыми.

Он отогнул манжету. На запястье, там, где у писаря чернильная мозоль, тянулся жёлто-зелёный след, старый, трёхнедельный: его держали за руки, и держали крепко.

— Шкатулку не тронули?

— Шкатулки при мне не было. Я не настолько глуп. Я оставил её у возчика в последней варнице и пошёл пустой: посмотреть, пропустят ли. Не пропустили, — он вернул манжету

на место и застегнул пуговицу. — Меня довезли до Затонов поперёк седла и там отпустили, поскольку задерживать меня было не за что: по их же бумагам я ходил в никуда. Начальник кордона был настолько любезен, что объяснил мне это сам.

— А обратно почему в Ортен? Плёс ближе.

Тарн ответил не сразу.

— Я шёл её сдавать. В Весовую палату, в реестровый стол. Я рассудил, что если не могу довезти, то пусть хотя бы лежит там, откуда взята. Вчера вечером я был в этом твёрдо уверен. Я даже написал сопроводительное, — он потрогал нагрудный карман. — А утром нашёл в ней то, что вы видели.

— И поверили записке, которую сами не писали.

— Я поверил почерку, господин Вельд. Это единственный почерк, которому я верю, и то, как выяснилось, зря.

Бор у камина пошевелился. Он сидел на своём месте, боком к огню, держа лубок на колене, и смотрел на клиента. Он смотрел на него с той самой минуты, как звякнул колокольчик, и за всё время не сказал ни слова. Обычно к этой минуте он уже успевал сообщить мне, чем человек зарабатывает, сколько лет женат и за что его били. Сейчас он молчал, и мне это не нравилось.

— Вернёмся к шкатулке, — сказал я. — У нас есть правила. Вон они, у двери.

— Я прочёл. Восемь пунктов, два почерка. Второй почерк ставит запятые щедрее, чем следует, но в восьмом, как ни странно, всё верно.

— Седьмое.

— «Чего не знаем — так и говорим».

— Так вот, я не знаю, что повезу. Я не знаю, горит оно, течёт или кусается. Я не знаю, сколько за него дают в Затонах и на сколько лет. А вы предлагаете мне нести это через кордон, где, по вашим же словам, коронный закон кончается за белым столбом.

— Не горит без посторонней помощи, — сказал Тарн. — Не течёт. Не кусается. Весит семь фунтов с четвертью; я взвешиваю её каждое утро. Сегодня было семь с четвертью и ещё волос: надо полагать, записка.

— Этого мало.

— Бумага и бронза, — он сказал это после паузы, и видно было, что отдаёт он эти два слова, как отдают последние две петли. — Внутри бумага и бронза, и ни то ни другое не моё. Это вещь городская. Я взял её на время. Время вышло восемнадцать лет назад.

— Краденое?

— Нет.

— Коронное?

— Нет. Хотя корона, полагаю, будет держаться иного мнения.

— Тогда почему не вскрывая?

— Потому что вскрыть её вправе один человек, и это не я и не вы. Я её запер в тот день, когда принял, и с тех пор открывал, только чтобы убедиться, что всё на месте. Я ничего оттуда не вынимал и ничего не вкладывал, — он запнулся. — Почти ничего. Если вы её вскроете, господин Вельд, то доставите уже не то, что я вам поручил. А мне нужно, чтобы она пришла такой, какой ушла.

Я посмотрел на Адель. Она стояла над шкатулкой с иглой и качала головой: ничего. Обычный дуб, обычное железо. Потом она нагнулась и понюхала замочную скважину, чем, по-моему, сильно удивила клиента.

— Сургуч, — произнесла она. — Старый. И соль, но не мерная. Простая, варочная. Ею пересыпали.

— От сырости, — сказал Тарн. — У нас так хранят всё, что должно пережить хозяина.

«У нас».

Он сам услышал. Колено под плащом дёрнулось и замерло.

— Вы из Гельта, — сказал я.

— Я родился в городе, которого нет, — ответил он ровно. — В подорожной у меня написано: Третий плёс. Написал я сам, почерк хороший, никто не усомнился.

Из шкафа в углу донеслось сопение, потом скрип, потом знакомый мягкий удар об пол. Плюх выпал, как выпадал всегда: боком, с недоумением. Встал, отряхнулся, оставив на половицах серое, и пошёл через приёмную, переваливаясь. Мимо Бора. Мимо скамьи. К моему столу.

У стола он сел, задрал голову и уставился на шкатулку.

Смотрел он, как обычно, чуть мимо. Но мимо в её сторону.

— Это что? — спросил Тарн.

— Инвентарь, — сказал я.

— Оно… — он подобрал ноги под стул. — Оно интересуется.

— Он всем интересуется, что закрыто.

Я снял шкатулку с книги расходов и переставил на верхнюю полку, к реестрам. Она и правда тянула фунтов на семь. Плюх проводил её глазами, чихнул и остался сидеть, глядя теперь на полку.

Мне это тоже не понравилось. Но у меня к этой минуте уже набралось довольно того, что мне не нравилось, и я решил считать по порядку.

* * *

— На два слова, — сказал я Адель.

В кабинете пахло пылью и холодным стеклом. Плюха на столе уже не было, осталась вмятина на тетради и серое на клеёнке. Адель положила три крупинки на чёрное стекло, рядом с прежними десятью, придвинула лампу, сняла очки и надела снова.

— Те же, — произнесла она. — Круглые, окатанные, одного размера. И солёные. Я не буду пробовать на язык при клиенте, но я знаю, что солёные.

— Арочная площадь.

— Дом на старом камне. Запертая комната. Запертая шкатулка. Замкнутый объём в замкнутом объёме, и под полом та же кладка, что под аркой, — она загибала пальцы. — Бюро Эльзы Морн стояло у мельничной стены. Здесь то же самое, только стена подревнее. И записка та же: адрес и «берутся».

— И почерк хозяина.

— Да. Это мне интереснее всего. В тот раз мы решили, что три слова писал Морн, а строку про нас дописал кто-то другой. Но почерк был один, вдова не отличила. Теперь человек получает записку, написанную его же рукой, и клянётся, что не писал, — она постучала ногтем по клеёнке. — Я думаю, оно пишет рукой того, чья бумага.

— Оно?

— У меня нет другого слова. Пока нет. И ещё одно. Он сказал: «почти ничего».

— Кто?

— Клиент. «Я ничего оттуда не вынимал и ничего не вкладывал. Почти ничего». Он что-то туда положил, сам, уже после. И ему за это неловко.

— Ты это услышала?

— Я слушаю слова, Рик. Это ты слушаешь паузы.

— Гай пишет «Г» с перекладиной на полстроки. Я это «Г» узнаю в темноте.

— Значит, либо это не он, либо там, откуда он пишет, от почерка остаётся только чужой, — она посмотрела на меня боком, через целое стекло. — Тебе сказали: что принесут. Тебе не сказали, кто будет приносить.

Я молчал. Через дверь было слышно, как Никс гремит на кухне заслонкой и как Бор не говорит ничего.

— Ты хочешь отказать, — произнесла Адель.

— Я хочу посчитать. Кордон Соляной палаты. Город, которого нет, а значит, нет и закона, который там за нас заступится. Клиент, который не говорит, что везёт. Шесть недель дороги на четверых. И Никс.

— Что Никс?

— Он оттуда.

— Я знаю. Он сказал «Гельта нет» и поставил веник в угол. Он ни разу не ставил веник в угол: он его бросает, — она сняла очки, потёрла переносицу. — Рик. В кассе три арки. Штраф тридцать, до конца года. Вдова заплатит, когда заплатит «Якорь», а «Якорь» заплатит, когда сочтёт нужным. Это я считаю за тебя, потому что ты сейчас считаешь другое.

— Что я считаю?

— Ты переставил шкатулку на полку с реестрами. Не на подоконник и не обратно ему в руки. Ты её уже взял. Теперь ищешь, во что это обойдётся.

Спорить было не с чем. Я пошёл обратно.

* * *

Тарн доел корку от Мартиного пирога и сидел прямо, сложив руки, как сидят в приёмной у начальства. Крошки он собрал в ладонь и держал в кулаке: не знал, куда у нас принято.

— В камин, — сказал я. — Теперь цена.

Я показал на доску. Он прочёл её ещё от двери, шевеля губами. Я видел. Он вообще читал всё, что было написано в этой комнате: правила, столбцы, корешки реестров, клеймо литейщика на каминной решётке, даже «Крамп» на счёте от мясника, который я не успел убрать со стола. Другие, входя, оглядывают углы. Бор смотрит человеку на руки, Никс на карманы. Этот смотрел на буквы.

— Шесть столбцов. Обычное от пяти арок. Сложное от пятнадцати. Очень сложное от сорока. Опасное от восьмидесяти, половина вперёд и расходы вперёд. Шестой вас не касается.

— А пятый?

— Пятый называется «Безумное». Под ним за три месяца не висело ничего. Цена по соглашению.

— Назовите.

Я назвал не сразу. Я сложил: дорога до Затонов, девять дней возком, если не дожди. От Затонов до его белых столбов ещё день. Что за столбами, не знает никто из сидящих в этой комнате, считая клиента. Обратно столько же. Овёс, ночлег, мостовые, починка, лекарь. Четверо едоков шесть недель. Соль для Адель, потому что пустой я её больше никуда не повезу. И отдельной строкой то, чего в расписку не вставишь: трое верховых в сером, которые перестают быть вежливыми.

— Сто арок, — сказал я. — Пятьдесят вперёд. Двадцать на расходы, тоже вперёд, с отчётом. Пятьдесят по вручении.

Никс в дверях кухни присвистнул. За сто арок в красильной слободе можно купить дом с колодцем.

Тарн не присвистнул. Он расстегнул сюртук, потом жилет. Под жилетом на нём был пояс, холщовый, простёганный поперёк, как стегают одеяла, и в каждой клетке лежало по монете. Он распарывал клетки ногтем, без спешки, и выкладывал арки на мой стол столбиками по десять. Выровнял. Семь столбиков.

— Семьдесят, — сказал он. — Всего на мне сто четыре: это то, что я отложил с восемьдесят седьмого года. Остальные тридцать четыре, с вашего позволения, пока поедут на мне. Шестнадцать я вам останусь должен по вручении и напишу в том обязательство.

Золото было разное. Старые арки короля Эдмара, тяжёлые, с толстым краем. Новые, эдриковские, потоньше. Две тесские, с кораблём. Он собирал их по одной. Пояс после этого повис на нём с левого бока пустой кишкой; с правого в нём ещё оставалось, и он застегнул жилет так, чтобы не было видно.

Я смотрел на семь столбиков и видел шестой гвоздь на доске. Жёлтую записку, четвёртую сверху: «Всё, за что платят слишком легко».

— Вы не торгуетесь.

— Я сорок лет переписываю купчие, господин Вельд. Я знаю, чем кончается торг: обе стороны расходятся в уверенности, что их обманули. Мне нужно, чтобы вы были уверены в обратном. По меньшей мере до Затонов.

— А после?

— После вам будет не до того.

Бор кашлянул. Это был первый звук, который он издал за четверть колокола.

— Есть условие, — сказал Тарн. — Я еду с вами.

— Нет.

— Я знаю тракт за Затонами. Я знаю, где стоял мост и где брод, который в подорожных не значится. Я знаю город. И вручить должен я.

— Вам под шестьдесят, и вы сели на стул в три приёма.

— Пятьдесят восемь. И встану в четыре. Но я дошёл туда и обратно пешком, а ваш сержант, если я правильно читаю лубок, не сможет править лошадью ещё недели две.

Бор не шевельнулся. Но смотреть на клиента стал иначе: так он смотрел на Никса в тот день, когда Никс срезал у него кошелёк.

— Хорошо, — сказал я. — Едете. Кормитесь из расходов, расходы ваши. В договор это не пишу.

— Почему?

— Потому что в договоре будет слово «вручить». Вручает тот, кто дошёл. Отстанете, сляжете, вас снова повезут поперёк седла — мы пойдём дальше и вручим без вас. Мне платят за шкатулку. За вас мне не платят.

Он подумал. Колено у него уже не дрожало.

— Справедливо, — произнес он. — Неприятно, но справедливо. Пишите.

Я открыл реестр. Двести шестнадцать строк было над этой: двести двенадцать рукой брата, четыре моей. Счёт у него начинался с двойки. Я как-то спросил Адель, куда делся номер первый, и она ответила, что в описи имущества первой страницы не значится. Я обмакнул перо.

— Диктуйте. Дословно. Потом я прочту вам вслух, это третье правило.

Он продиктовал. Диктовал он лучше всех, кто когда-либо сидел на этом стуле: с запятыми. Я прочёл:

— «Номер двести восемнадцать. Доставить шкатулку заказчика, не вскрывая, в город Гельт и вручить городскому голове в собственные руки не позднее шестого числа Двенадцатого месяца сего года, до закрытия весовой».

— Чьей весовой? — спросила Адель.

Мы оба повернулись к ней.

— «До закрытия весовой». В Ортене книги закрывают в шестом колоколе. А там? Там бьют в колокол? Там вообще считают время, как мы?

— Гельтской, — ответил Тарн, помедлив. — В городе одна весовая, на Соляной площади. При мне закрывали в шестом. Что там теперь, я не имею сведений.

— Тогда впишите: «гельтской».

Я вписал. Три недели назад я бы сказал ей, что клиент не за тем пришёл, чтобы слушать про колокола. За эти три недели одно слово в одной формулировке стоило мне пяти часов жизни и ожога на ладони, и я вписал без разговоров.

— «Городскому голове», — произнес я. — Имя.

— Имени я не знаю.

— А прежнего?

— Прежнего звали Матиас Грёве. Его повесили в Затонах в Первом месяце восемьдесят седьмого года.

— Кто голова теперь?

— Не имею сведений. Восемнадцать лет оттуда не приходило ни письма, ни человека. Ко мне, во всяком случае.

Я оставил, как было: «городскому голове». Без имени.

Перо у меня повисло над страницей. Слов в строке было немного, и по меньшей мере три мне не нравились. «В город Гельт»: по закону такого места нет, а доставить в место, которого нет, значит не доставить никуда. «Городскому голове»: кому? «Вручить»: из рук в руки, а через порог у нас не дают даже соль. Каждое из трёх могло потом оказаться тем самым словом.

Но диктовал он, а не я. И золото лежало на столе ровно.

— Почему шестое? — спросил я. — Что будет седьмого?

— Седьмого будет распашка, — он произнёс это слово так, как отец Ансгар произносил слово «недовес». — Устав о вычеркнутых местах, статья одиннадцатая. Место, изъятое из Реестра, числится спорным восемнадцать лет и один день: трижды шесть, как заведено. Если в этот срок голова предъявит коронному приставу то, чем место может доказать, что оно город, дело уходит в королевский суд. Если не предъявит, место распахивают. Земля отходит короне под соль, колодцы и варницы — Соляной палате, строения сносятся на вывоз.

— А жители?

— В уставе о распашке слово «жители» не встречается, — ответил Тарн. — Я проверял. Я прочёл его одиннадцать раз.

Никс стоял в дверях кухни и смотрел в пол.

— Подписывайте, — кивнул я на листок.

Он подписал. Буквы отдельно одна от другой, без росчерка: «В. Тарн». Я поставил свою. Адель свою, мелко, с наклоном.

Потом я написал расписку: семьдесят арок принято, пятьдесят в счёт платы, двадцать на расходы под отчёт. Он прочёл её дважды, попросил перо, поставил запятую после «принято» и только тогда сложил и убрал в клеёнчатый бумажник, к записке.

— Выезд третьего, на рассвете, — произнес я. — Мне нужно три дня. Купить соль. Починить совладелице очки. Найти возок и лошадей. Проверить вас, это второе правило. И покрасить вывеску.

— Вывеску?

— Я обещал.

Он не стал спрашивать, кому. Он поднялся: в четыре приёма, как и предупреждал, придерживаясь за край моего стола. Одёрнул сюртук. Поглядел на полку, где стояла шкатулка, и я понял, что он впервые за восемнадцать лет уйдёт куда-то без неё.

Бор тоже встал.

— Мэтр Тарн, — произнес он. — Вы меня не помните.

Тарн обернулся. Они стояли в трёх шагах друг от друга: один широкий, в лубке, с рассечённой и уже затянувшейся бровью, другой узкий, чёрный, с чистыми руками.

— Простите?

— Двенадцатый месяц восемьдесят шестого. Весовая палата. Чёрный ход, что на Рыбный переулок, — Бор говорил, как на докладе, не повышая голоса. — Снег шёл. Мне было тридцать, я стоял в наряде, вторым номером. Семерых из Гельта привели с площади через парадное, в цепях, чтобы народ видел. Шестерых вывели через парадное на подводу. А седьмого велели вывести чёрным ходом. Без цепей. И проводить до угла, чтобы не побили. У него была бумага с печатью и шапка в руке. Он эту шапку так и не надел, до самого угла.

В приёмной стало слышно, как тикает на втором этаже что-то, чему тикать было не положено: у нас нет часов.

— Вы дали мне рукавицу, — произнес Тарн.

— Одну. Вторая мне самому была нужна.

— Левую. Я её сохранил. Она лежит в Плёсе, в сундуке.

— Ну, — сказал Бор.

Он не сказал «бывает».

— Что было в бумаге? — спросил я.

Тарн смотрел не на меня. На Бора.

— Моя подпись, — произнес он. — Под показанием городского писаря города Гельта о том, что городской грамоты у означенного города не имеется и предъявить её означенный город не может. Писано пятого числа Двенадцатого месяца. Указ о вычёркивании вышел шестого, — он перевёл дыхание. — В указе есть ссылка на моё показание. Вторая строка сверху.

Семь столбиков стояли у меня на столе. Я их ещё не пересчитал.

Первое правило я выполнил: аванс вперёд. Второе за меня выполнил Бор, на четверть колокола позже, чем следовало. Так у нас и раньше выходило, но раньше между первым и вторым не успевала высохнуть подпись.

Никс вышел из кухонных дверей. Он шёл через приёмную не спеша, руки держал в карманах, и я видел, что карманы оттопырены кулаками. Остановился перед клиентом. Он был выше Тарна на полголовы и моложе на тридцать семь лет.

— Так это ты, — сказал Никс.

— Смотря что вы имеете в виду, молодой человек.

— Я из Гельта. Мне три года было. У меня ни имени в книге, ни фамилии, ни места, где я родился: я спрашивал в храме, мне сказали, что родиться там нельзя, потому что там ничего нет. Меня нет. Нас таких в Ортене три сотни, и про каждого записано, что его нет, — он говорил тихо. Я ни разу не слышал, чтобы Никс говорил тихо. — Я всё думал: это же кто-то написал. Рукой. Сел и написал. Я думал, если узнаю кто…

Он не договорил.

— Тогда вы имеете в виду именно то, — спокойным и ровным голосом произнес Тарн.

Он не отступил. Он стоял, придерживаясь двумя пальцами за край моего стола, старый, сутулый, и смотрел на Никса снизу вверх.

— Расписку можете порвать, господин Вельд. Аванс я заберу, если вы так решите, и пойду в Весовую палату, как собирался вчера. Но прежде я попросил бы меня выслушать. Что именно я подписал. И что лежит в шкатулке. Это займёт меньше времени, чем вы все потратите на то, чтобы меня ненавидеть.

Решать было мне: я совладелец, моя подпись в реестре первая. Но бывают минуты, когда решает тот, у кого кулаки в карманах.

Никс вынул руки. Разжал. Потом повернулся, прошёл мимо меня и сел на скамью для клиентов. Он не садился на неё ни разу за три недели: говорил, что с неё слишком хорошо видно дверь и слишком плохо всё остальное.

— Говори, — сказал он. — Я восемнадцать лет не знал, у кого спросить.

Глава 2

Рассказывал он стоя. Сесть второй раз отказался: сказал, что о таких вещах сидя говорят только те, кто их слушает.

— Осенью восемьдесят шестого Соляная палата назначила закупочную цену на гельтскую соль, — начал Тарн. — Треть от прежней. До того мы продавали кому хотели: Палате, Лиге, обозникам из Каррада. По грамоте. Грамоту дал городу король Эдвин Второй, в девятьсот сорок первом году, за то, что гельтские солевары в голодную зиму кормили столицу в долг. «Варить и продавать соль по своей цене, покуда стоит город». Одиннадцать строк, я знал их наизусть.

— Знал? — спросила Адель.

— Знаю,— он принял поправку без обиды. — Палата сочла, что грамота устарела. Мы сочли иначе. Варницы встали, обозы Палаты ушли пустыми. Тогда Палата закрыла тракт. Это назвали Соляным бунтом, хотя, с вашего позволения, никто никого не бил: мы просто не продавали.

Никс сидел на скамье, локти на коленях, и смотрел на его сапоги.

— Город решил идти к королю. Семеро. Голова, Матиас Грёве. Трое старшин от варниц. Двое от весовой. И писарь, потому что грамоту в дороге хранит писарь: так заведено, голова отвечает за город, а писарь за то, что о городе написано, — Тарн дотронулся до шнурка на шее. — Я вёз её в этой шкатулке. Шкатулка моя, отцовская, в ней раньше лежали перья.

— Короля вы не увидели, — сказал Бор.

— Мы увидели приёмную Весовой палаты, сержант. Пришли двадцать восьмого Одиннадцатого, подали прошение, нам велели ждать. Ждали мы «Под Третьей», всемером в двух комнатах. Третьего числа за нами пришли, — он помолчал. — Я успел. У меня была привычка: в чужом месте я не держу важное в комнате. В погребе «Под Третьей» пол из старого камня, плиты лежат насухо. Одна у стены качалась. Я положил шкатулку под неё в первый же вечер и никому не сказал, даже голове.

— Под старый камень, — сказала Адель негромко. Мне, не ему.

— Нам предъявили бунт против коронной монополии. По этой статье семерым полагалась виселица, городу — солдаты. Две роты уже стояли в Затонах. Потом меня отвели отдельно. Со мной говорил человек из Палаты, молодой, лет тридцати, очень вежливый. Он объяснил, что есть другой способ. Тихий. Если у города нет грамоты, город не бунтовал: бунтовать может только тот, у кого есть права. Нет грамоты, значит, нет города. Есть место, где варят соль без дозволения. Такое место не берут штурмом. Его вычёркивают.

— И людей не тронут, — сказал я.

— Он сказал именно так. Слово в слово. «Людей не тронут. Их просто не станет в книгах». Шестерых не повесят, а отправят в Затоны. Солдаты не войдут. От меня требовалось одно: показание городского писаря, что грамоты у города не имеется. Что она утрачена, или сгорела, или её не было. Он не настаивал на подробностях.

— А где она на самом деле, он не спросил?

— Спросил. Я ответил, что голова сжёг её перед отъездом, чтобы не досталась Палате. Грёве в это время сидел через стену и подтвердить не мог. Мне поверили: это было похоже на Грёве, — Тарн поглядел на свои руки. — Я подписал пятого. Шестого вышел указ. Меня вывели чёрным ходом, и сержант дал мне рукавицу.

— Грёве повесили, — произнес Бор.

— В Первом месяце. Мне об этом не сообщили. Я узнал через год, от возчика. Меня, как видите, обманули в одном пункте из трёх, и я до сих пор не решил, много это или мало.

Никс поднял голову.

— А в третьем?

— Простите?

— Три пункта. Шестерых не повесят: одного повесили. Солдаты не войдут: не вошли, встали кордоном. «Людей не тронут». Это третий. В нём тебя, значит, не обманули?

Тарн молчал довольно долго.

— Я переписчик, молодой человек. Я тогда думал, что книга — это книга, а человек — это человек, и что из первой можно вычеркнуть, не задев второго. Мне казалось, что не быть в Реестре лучше, чем не быть вовсе.

— Ну и как? Лучше?

— Не знаю. Я там не был восемнадцать лет.

— А я тут был, — Никс говорил всё так же тихо. — Я тебе расскажу, как это. Тебя не женят: в храме нет твоего первого веса, значит, не с чем сводить. Не хоронят с расчётом: придёт мерный отец, поглядит в книгу и уйдёт. В цех не берут, в стражу, на баржу, в ученики к приличному мастеру. Знаешь, куда берут? В артель. Там в книги не смотрят. Нас в Ортене три сотни, и половина ровесников ходит под Дядей Мхом, потому что больше ходить не под кем. Так что тронули. Не руками.

— Я это учту, — сказал Тарн.

— Чего?

— Я сказал, что учту. Я не умею отвечать иначе, когда мне сообщают верную цифру, которой я не знал.

Никс открыл рот и закрыл. По-моему, он ждал чего угодно: что старик станет оправдываться, или упадёт на колени, или огрызнётся. С любым из этих вариантов он бы знал, что делать.

— Почему вы не отвезли её назад? — спросила Адель. — Сразу. В восемьдесят седьмом. Вы знали про срок.

— Первый год я боялся кордона. Грёве был уже повешен, и я не сомневался, что на заставах лежит моя примета.

— А потом?

— Потом я боялся не кордона.

Он сказал это и замолчал, и было видно, что больше он сегодня про это не скажет. Бор глянул на меня. Я понял: ему тоже показалось, что из всей речи это была первая фраза не под запись.

— Грамота и печать, — произнес я. — Бумага и бронза.

— Пергамент, если быть точным. И городская печать — матрица весом в фунт и три четверти. Без печати грамоту не предъявишь, без грамоты печать — просто бронза.

— И если голова покажет это приставу до шестого…

— Дело уходит в королевский суд. Суд может тянуться годы. Но пока он идёт, место числится спорным, а спорное не распахивают. И жители этого места тоже числятся спорными, а не несуществующими, — он посмотрел на Никса. — Это не много. Но это графа в книге, молодой человек. С неё можно начинать.

* * *

Тарна я отправил наверх, в кладовую: там стоял топчан, и окно выходило во двор. «Под Третьей» ему больше ночевать было нечего. Он не спорил, только спросил, где у нас умываются, и ушёл, держась за перила.

Мы остались вчетвером. Обрезок с номером двести восемнадцать лежал у меня на столе, не наколотый.

— По порядку, — сказал я. — Бор.

— Про рукавицу не врёт. Про чёрный ход не врёт. Руки писарские, плечи писарские, глина на сапогах с Соляного тракта, красная, я такую видел на обозниках. Били его недели три

назад, не сильно: держали и трясли, — Бор пошевелил пальцами в лубке. — А врёт он в одном месте. Не врёт, недоговаривает. «Потом я боялся не кордона». Там человек. Баба, скорей всего.

— Почему баба?

— Мужика так не боятся. Мужика боятся громче.

— Проверить сможешь?

— Плёс проверю: у меня на Дровяной пристани шкипера, завтра к вечеру буду знать, есть там такой переписчик и сколько лет. Палату проверю, восемьдесят шестой год: в околотке должна быть книга нарядов. Гельт не проверю. Туда у меня никого.

— Адель.

— Юридически он прав. Я читала устав о вычеркнутых местах, когда меня… когда разбирали мой случай. Искали, нельзя ли вычеркнуть угол Академии, чтобы не чинить, — она не улыбнулась. — Статья одиннадцатая существует. Срок трижды шесть. Предъявляет голова, лично, коронному приставу. Про жителей там действительно ни слова.

— А по твоей части?

— По моей части есть шкатулка, которая восемнадцать лет назад три дня пролежала под старым камнем, а вчера вернулась в тот же дом. И в ней за ночь появилась записка. Я хочу знать, что будет, если её поставить рядом с иглой возле арки. Но это не довод. Это любопытство.

— У тебя это одно и то же.

— Да. Я над этим работаю.

— Никс.

Он всё ещё сидел на скамье для клиентов. С неё действительно хорошо видно дверь.

— Берём, — сказал Никс.

— Почему?

— А вы не берёте? Сто арок.

— Я спросил, почему берёшь ты.

Он почесал переносицу, сломанную и сросшуюся налево.

— Хочу посмотреть, как он туда войдёт. В ворота, или что там у них. Что ему скажут, — он подумал. — И потом. Вы меня как записали? «Специалист по доступу в труднодоступные помещения». Ну вот. Города, которого нет, труднее не бывает. Если я туда не полезу, то какой я специалист.

— Ты не судья ему.

— Я и не сужу. Я смотрю.

— И не трогаешь.

— Вельд. Я три недели в этом доме. Я хоть что-нибудь тронул?

— Колбасу.

— Колбасу тронул Плюх!

Бор хмыкнул. Стало можно дышать.

— Тогда моё, — сказал я. — Клиент недоговаривает. Заказ пахнет Соляной палатой, а с ней я не судился даже во сне. Платит он слишком легко. По всем трём пунктам брат повесил бы это вот сюда. — Я показал на шестой гвоздь. — С другой стороны, записка. Вторая за месяц, того же сорта, с тем же песком. Первая привела нас на Мызу, и на Мызе оказалась дверь, которую некому было закрыть, кроме меня.

— Про дверь я знаю, — произнес Никс. — Я вам клинья забивал. А про «того же сорта» не знаю. Вы трое всю дорогу от Вязеля переглядывались, как на поминках, когда делят ложки.

Он был прав. Бор слышал у кареты половину. Адель знала всё. Никсу не сказали ничего: сперва было некогда, потом неловко, потом он мёл комнату.

Я рассказал. Коротко: берег, двенадцать арок, покойник, который ушёл по песку сам. И человек под ближней аркой, седой, на привязи в двадцать шагов, с бронзой на поясе.

— Гай, — сказал я. — Мой брат. Он жив. Или то, что там вместо «жив». Он сказал: домой, а потом что принесут к вывеске. Сам не ищи.

Никс слушал, приоткрыв рот. Когда я закончил, он посмотрел на потолок, на меня и опять на потолок.

— То есть нас нанимает ваш брат.

— Не знаю.

— Через покойников и писарей. Подкладывает им бумажки, они идут сюда. А платит кто?

— Клиенты.

— Удобно, — произнес Никс с уважением. — Это ж какая контора: заказчик один, а платят все остальные. Дядя Мох бы удавился.

— Живой, значит, — кивнул Бор.

— На привязи.

— Привязь не могила. С привязи снимают.

Он сказал это просто, как про собаку во дворе. Я не нашёлся, что ответить, и взял обрезок.

Шесть гвоздей. «Обычное», «Сложное», «Очень сложное», «Опасное». Под шестым жёлтые записки и одна моя, вчерашняя. Пятый был пустой. Он был пустой при брате, судя по тому, что вокруг шляпки ни одной дырки от прежних бумажек: за восемь лет Гай не повесил туда ничего. Или не успел.

Я наколол обрезок под «БЕЗУМНОЕ».

— Очки будут послезавтра, — произнесла Адель. Она стояла рядом и глядела на доску, а не на меня. — Оптик обещал к вечеру второго. Соль я куплю завтра, шесть арок, у Бреккера на Соляном рынке, с печатью. Выезд третьего.

— Да.

— Тогда наверх мы до отъезда не пойдём.

Я ждал этого. Ключ лежал у неё в кармане юбки вторые сутки.

— В ту комнату нельзя зайти между оптиком и возком, — сказала она. — Там стол с бумагами, которые никто не читал пять лет. Двенадцать бирок. Рама. Мне нужна неделя, целые глаза и полный запас. И ты, не спавший по три часа и не с обожжённой рукой. Вернёмся — пойдём. Ключ едет со мной.

— Это мера предосторожности?

— Это порядок работы.

Мне стало легче. И тут же сделалось стыдно, что легче: я три месяца не пускал её наверх, а теперь, когда она сама отложила, обрадовался, как школьник отменённому уроку. Адель, по-моему, это видела. Она вообще стала видеть больше, чем мне было удобно.

— Вельд, — произнес Никс со скамьи. — А спать он где будет? Писарь.

— В кладовой.

— Это через стенку от меня.

— Через две. Между вами лестница.

— Я с ним на одном этаже…

— Ты с ним шесть недель в одном возке. Привыкай с лестницы.

Он встал, подобрал веник и пошёл дометать. Мёл он зло, от стены, и пыль летела в камин.

* * *

Наутро, тридцатого, мы разошлись в три стороны. Бор на Дровяную пристань, к шкиперам. Адель на Соляной рынок, с шестью арками и списком. Я с Никсом в красильную слободу: я обещал ему это ещё на тракте, под Вязелем, и вписал себе в долги.

Красильни стоят ниже Нижнего моста, там, где город уже не стыдится того, что льёт в реку. Сойма в этом месте течёт тремя полосами: у нашего берега бурая, от дубовой коры, посередине синяя, у дальнего жёлтая. К Керну, говорят, всё смешивается обратно в серое.

По дороге Никс объяснял мне кассу. Объяснял на ходу, перепрыгивая лужи, и руками показывал больше, чем словами. Каждый вычеркнутый, у кого есть заработок, несёт Берте петлю в неделю. Из этого платят повитухе, потому что цеховая к безымянным не пойдёт. Платят могильщику за яму на краю, без расчёта и без камня. Выкупают из околотка тех, кого взяли в первый раз: во второй не выкупают, это правило. Берта ведёт тетрадь, потому что иначе через год никто не вспомнит, что Хромая Анна и Анна-прачка — два разных человека. В тетради у каждого две строки: как зовут здесь и как звали там.

— А у тебя?

— А у меня одна. Меня там никак не звали, я не помню.

Тётка Берта оказалась женщиной в полтора Бора шириной, в кожаном фартуке, с руками, синими по локоть. Синева была старая, въевшаяся, с прозеленью у ногтей. Она стояла над чаном и мешала в нём веслом.

— Веник видишь? — сказала она Никсу вместо «здравствуй». — Вон, у двери. Он тебя помнит.

— Я по делу, тётка Берта.

— В прошлый раз ты тоже был по делу. Пришёл и говорит: тебя, мол, обнести хотят, перепрячь тетрадь. Я его веником, — пояснила она мне. — А к вечеру села и подумала. Перепрятала. Это кто?

— Вельд. Я у него служу.

— Слыхала. Бюро, — она оглядела мою руку в тряпице, нос, который ещё не решил, каким ему быть после локтя Холла, и вернулась к чану. — Это вы покойника из Вязеля привезли? Про вас на мосту говорят. Одни говорят: украли. Другие: похоронили. Вы уж сами решите.

— Мы доставили. Никс сказал, вашу тетрадь заказывали.

— Заказывали. В Седьмом месяце, через Мха. Он, — кивок на Никса. — Отказался, и на том спасибо. А в Девятом пришёл сам. Не Мох, другой. Хорошее сукно, перстень, говорит мягко, слова тянет по-тесски. Сказал, что от благотворителей. Что хотят помогать вычеркнутым, да не знают кому, и не продам ли я список. Давал сорок арок.

— А вы?

— А я спросила, чем красить. Он не понял. Я говорю: благотворителей чем красить, синим или в крапинку? У меня красильня. Списков не держу.

Никс фыркнул.

— И всё?

— Не всё, — Весло остановилось. — На той неделе был третий. Этот без перстня. Серое сукно, по вороту жёлтый кант, сапоги казённые. Этот тетрадь не спрашивал. Спрашивал людей. Кого, говорит, вывезли из Гельта малыми детьми, зимой восемьдесят седьмого, и кто из них жив.

— Детьми, — повторил я.

— Малыми. Он так и сказал: до пяти лет. Я говорю: у меня красильня, не приют. Он постоял, поглядел на чаны и ушёл. Вежливый. Таких вежливых я боюсь больше, чем тех, что с перстнем.

Серое с жёлтым кантом. Вчера я слышал про этот кант от человека, которого в нём возили поперёк седла.

— Сколько их у вас? — спросил я. — Вывезенных детьми.

— Одиннадцать. Зима была голодная, кордон только встал, и кто мог, совал малых обозникам: вези куда хочешь, только отсюда. Восьмерых довезли до родни. Троих довезли до никого, — она посмотрела на Никса. — Этот третий по счёту.

Никс разглядывал чан.

— Тетрадь-то где? — спросил он. — Цела?

— Расшила, — Берта усмехнулась, показав крепкие жёлтые зубы. — По листу. Тридцать восемь листов, сорок два чана, под каждым чаном доска с двойным дном. Кому надо, пусть ныряет. А на полке у меня лежит другая, в той же обложке. Мне её Кривая Лотта переписала, у неё почерк как у курицы, не разберёшь. Там триста душ, и все покойники: я их с кладбищенской доски списала. Пусть ищут.

Я засмеялся. Ехал я сюда давать совет, как прятать, и вёз этот самый совет.

— Тогда я вам не нужен.

— По тетради не нужны, — она вытянула весло, положила поперёк чана. — А вот сядьте-ка. Малый сказал, вы в Гельт.

— Малый много говорит.

— Он с четырёх лет много говорит. Правда, едете?

Я не ответил. Никс покраснел ушами.

— Ну, едете, — заключила Берта. — Тогда слушайте. У меня триста душ. Восемнадцать лет ни один не послал домой ни слова: почта на Гельт не берёт, обозники не ходят, а кто ходит тайно, тот берёт арку за письмо и врёт, что донёс. У Хромой Анны там мать. У красильщика Юста трое братьев. У меня самой сестра, если жива, — она вытерла руки о фартук, хотя синему на них было всё равно. — Возьмите письма.

— Сколько?

— К третьему числу напишут сотни две. Кто сам не умеет, тем Лотта.

— С её почерком?

— Я велю, чтоб старалась.

Я прикинул. Две сотни листков, сложенных вчетверо, это фунта три с половиной, и это мешок, который на заставе не выдашь за смену белья. Письма в место, куда почта не принимает, по закону и не письма вовсе, а неизвестно что. Мерщик, который их найдёт, первым делом спросит, уплачен ли сбор.

— Обычное поручение у нас от пяти арок, — сказал я.

— У нас касса, а не банк. Петля с письма.

— Двести петель. Шестнадцать створок и восемь петель.

— Считаете быстро.

— Это всё, что я умею. — Я посмотрел на Никса. Он глядел на меня так, как, наверное, глядел в четыре года на яблоки. — Пять арок я с вас не возьму. Возьму петлю с письма, и не за письмо, а за доставленное. Что не вручим, привезём назад, и петлю вернём. Расписку напишу сейчас, остальное по счёту третьего числа.

— А если адресат помер?

— Тогда вручим тому, кто его хоронил.

Берта подумала и протянула мне синюю руку. Пожатие у неё было как у грузчика.

— Малый, — произнесла она, не отпуская моей ладони. Левой, здоровой: правую я берёг. — Раз ты всё равно здесь. Твой лист под одиннадцатым чаном. Четвёртая страница. Там про тебя записано, кто привёз, когда и что при тебе было. Ты в одиннадцать лет приходил спрашивать, я сказала: вырастешь, прочту. Вырос. Читать?

Никс молчал. Было слышно, как в чане лопаются пузыри.

— Не надо, — покачал он головой.

— Чего так?

— А зачем? Я знаю, что там. «Никс, вор, должен кассе четыре петли».

— Шесть.

— Шесть, — он сунул руки в карманы. — У кого есть откуда, тётка Берта, тому есть куда возвращаться. А мне некуда. Ну и пусть лежит под чаном. Целее будет.

Она глянула на меня. Я пожал плечами: не мой лист.

В реестре это легло номером двести девятнадцатым. «Доставить письма числом по счёту от кассы красильной слободы адресатам в городе Гельте; недоставленные вернуть». Я наколол обрезок под «ОБЫЧНОЕ», через три гвоздя от «БЕЗУМНОГО». Бор, вернувшись, долго смотрел на эти две бумажки и сказал, что за двадцать шесть лет службы не видел, чтобы один и тот же город висел сразу под двумя вывесками.

* * *

Днём я застал клиента на кухне.

Он сидел за столом, подложив под локоть сложенное полотенце, и писал. Перо было моё, запасное, из стакана на подоконнике; бумага своя, из клеёнчатого бумажника. Манжеты сюртука он успел застирать и повесил сушиться на печную заслонку, а рукава рубахи подвернул ровно на три оборота каждый. Перед ним стояла Аделина чернильница, которую из кабинета выносить запрещалось.

— Госпожа Рейн разрешила, — произнес он, не поднимая головы. — Она спрашивала точную редакцию одиннадцатой статьи. Я пишу по памяти, но за память ручаюсь: устав о вычеркнутых местах я переписывал для Плёсской управы четыре раза, и каждый раз бесплатно.

Писал он медленно и страшно ровно. Буква вставала рядом с буквой, как встают в строй, и между словами он оставлял одинаковые промежутки, будто мерил их ногтем. На полях не было ни одной помарки. Я подумал, что человек, который пишет так, должен был очень хорошо понимать, что именно выводит пятого числа Двенадцатого месяца и что почерк у него в тот день, скорее всего, был такой же.

Под полкой с реестрами, на полу, сидел Плюх. Он сидел там с утра. Шерсть на загривке у него стояла дыбом, а смотрел он вверх, на шкатулку, и время от времени переступал передними лапами, как кот у закрытой двери.

— Я пробовал его отогнать, — сообщил Тарн. — Линейкой. Он посмотрел на линейку и остался. С вашего позволения, господин Вельд: что он ест?

— Колбасу. Чужую.

— А бумагу?

— До сих пор не ел.

— Это утешает меньше, чем вы думаете.

Он дописал строку, посыпал песком из моей песочницы, сдул и только после этого поднял глаза.

— У вас на вывеске, — произнес он. — В слове «невозможных» облезла вторая «н». С улицы читается «невозможых». Я полагаю, красить вы будете всё равно. Но если маляр спросит, сколько там букв, скажите: одиннадцать. Маляры обычно не знают.

* * *

К Дяде Мху пошли в сумерках. Никс хотел один. Я сказал, что он у меня в книге расходов, а за статьями расходов я хожу сам.

Артель «Тихие руки» квартирует в старой коптильне на Рыбном спуске. Снаружи это сарай без окон, внутри тепло, темно и до сих пор пахнет копчёным лещом, хотя леща тут не коптили лет тридцать. Вдоль стен сидели люди и играли в кости, не поднимая глаз. Глаз они не поднимали так старательно, что я чувствовал их на своих карманах.

Посреди, на вытертом ковре, двое мальчишек лет по десяти учились на чучеле: чучело висело на верёвке, обшитое бубенцами, и надо было вынуть у него из-за пазухи платок, чтобы

ни один не звякнул. Звякало через раз. Никс покосился на чучело, как смотрят на старый букварь.

У печи, на низкой скамейке, сидел старик и вязал чулок.

Я ожидал другого. За три недели я наслушался про Дядю Мха столько, что приготовился к человеку вроде Холла, только умнее. Этот был маленький, мягкий, в вязаной безрукавке, с бородой того серо-зелёного цвета, какой бывает у камней на северной стороне. Спицы у него в пальцах ходили сами. Он считал петли, шевеля губами, и не сбился, когда мы подошли.

— Вельд-младший, — сказал он. — Садитесь, не стойте над душой. Малый, ты тоже. Сорок две, сорок три… Щегол! Дай людям скамью.

Из угла вышел Щегол. Выбритый, сытый, в целой рубахе. Левую руку без мизинца он держал за поясом. Скамью он поставил молча, а мне кивнул так, как кивают человеку, которому должны и помнят об этом.

— Ваш брат у меня людей нанимал, — сказал Мох. — Раза четыре. Платил вперёд и не торговался. Вы, говорят, тоже вперёд берёте. Это правильно. Кто берёт после, тот берёт меньше.

— Я пришёл про двенадцать арок.

— Выходная доля. Устав, статья шестая: кто уходит своей волей, платит артели за науку. Срок тебе до Лишней недели. Принесёшь — и ты мне никто. Иди куда хочешь, руки пожму. Не принесёшь — будет двадцать четыре, и уже не деньгами.

— Я могу внести за него, — сказал я. — Сейчас.

— Не можете. Выходит он, а не вы. Своими, заработанными, не в долг. Иначе получится, что вы его у меня купили, а я людей не продаю, — он подумал и добавил: — Покупать случалось.

Никс дёрнулся.

— До Лишней недели я не вернусь. Может быть.

— Знаю. В Гельт едешь. С писарем.

Я не спросил, откуда. Утром Никс сказал Берте, от Берты до коптильни по прямой четыре улицы.

— Тогда вот что, — сказал Мох, и спицы у него остановились в первый раз. — На вашу шкатулку, Вельд, с сегодняшнего утра цена. Пятьдесят арок тесской монетой тому, кто принесёт её запертой. Ко мне приходили. Я не взял. Мы с вашей конторой в расчёте: вы мне Щегла вернули, а за Щегла я брал тесские деньги и молчал, это на мне. Теперь не на мне.

— Кто взял?

— Заречные. Я в городе не один старшина. У них с весны девчонка, не здешняя, из Тесса. Работает чисто, говорят, чище моих. Кличут Сойкой,— он снова стал вязать. — Вам три ночи до выезда. Я бы на вашем месте шкатулку под подушку не клал. Под подушкой она ищет в первую очередь.

— Благодарю.

— Не за что. Это не услуга, это расчёт. Пятьдесят одна, пятьдесят две…

Никс поднялся. Я тоже. Мы были уже у двери, когда Мох сказал, не повышая голоса:

— Малый. Раз уж едешь.

Никс обернулся.

— Я за тебя две арки дал. Зимой восемьдесят седьмого. Привёз тебя человек с востока, кривой, одно плечо выше другого. Сказал: малец из Гельта, в Ортене у него должна быть родня, да родни не сыскалось, а назад ему с ребёнком хода нет. Просил три. Я дал две, потому что ты был сопливый и орал.

В коптильне перестали стучать кости.

— Ты говорил, меня на Рыночном нашли, — сказал Никс. Голос у него сел.

— На Рыночном я тебя нашёл через год. Ты у меня из-под стола ушёл яблоки воровать. В четыре года, заметь. Я тогда понял, что деньги потрачены не зря.

— Почему ты раньше…

— А ты раньше в Гельт не ездил, — спицы шли ровно. — Спросишь там кривого. Если жив, он должен помнить, у кого тебя взял. Я не спрашивал, мне было ни к чему: я покупал руки, а не родословную. А тебе, может, пригодится. Пятьдесят восемь. Ступай, сбиваешь.

На Рыбном спуске было темно и скользко. Внизу, у воды, качались фонари на баржах. Никс шёл впереди, быстро, и я не догонял: человеку, которому только что назвали его цену, надо дать пройти шагов сто одному.

У моста он остановился сам.

— Две арки, — сказал он, не оборачиваясь. — Вы мне арку в неделю платите. Это я, значит, за полмесяца себя окупил.

— За две недели. Я проверю по книге.

— Проверьте, — он помолчал. — Я не буду спрашивать кривого.

— Не спрашивай.

— А вы бы спросили?

Я подумал про лестницу в собственном доме. Про ключ с двойной бородкой, который три месяца носил в жилете, а теперь он ехал в кармане чужой юбки, и мне от этого было спокойнее.

— Я бы сперва посчитал, во что обойдётся ответ, — сказал я.

— И во что?

— Не знаю. Потому и не спрашивал бы.

— Ну вот, — сказал Никс. — А ещё старший.

Бор ждал нас в приёмной, у камина, с кружкой. Плащ на гвозде был мокрый: он тоже вернулся недавно.

— В Плёсе такой есть, — сказал он. — Переписчик Тарн, Мучной ряд, у вдовы Хаас. Восемнадцать лет, тихий, платит в срок, по праздникам пишет прошения даром. Жены нет, детей нет, гостей не бывает. Комнату его обыскивали дважды: в Четвёртом месяце и в Седьмом. Вдова думала, воры, да ничего не взято. Шкатулки при обысках в комнате не было: он её держал в весовой, у мерного отца, под большими весами.

— Храм не обыскивают.

— Вот и он так рассудил. Дальше. Книга нарядов за восемьдесят шестой в околотке цела. Пятого Двенадцатого, чёрный ход Весовой палаты, сопровождение одного лица до угла Рыбного. Подписано мной. Я и забыл, что расписывался.

— А третье?

— Откуда знаешь, что есть третье?

— Ты кружку держишь, а не пьёшь.

Он поставил её на полку.

— Напротив, у ворот нотариуса, с полудня стоит человек. То стоит, то ходит до угла и обратно. Сукно серое, — Бор показал пальцем себе на ворот. — По вороту жёлтое. Я таких в Ортене не видел лет восемнадцать.

Глава 3

Тридцать арок я отнёс в Палату Сводов первого числа, с утра, пока не передумал.

Передумать было легко. Столбики на моём столе простояли две ночи, и я успел к ним привыкнуть: семьдесят арок, каких в этом доме не водилось с тех пор, как тут распоряжался брат. Двадцать лежали отдельно, на расходы. Из пятидесяти я отсчитал три столбика, ссыпал в кошель и пошёл на Арочную, чувствуя на поясе каждый шаг.

Человек в сером стоял у ворот нотариуса. Я прошёл мимо, не глядя. Бор велел: не трогай, пока стоит, мы хотя бы знаем, где он.

Палата Сводов занимает на площади дом с колоннами, лицом к Третьей арке, чтобы та не забывала, чья она. Сводные приставы сидят во втором этаже, в длинной комнате, перегороженной шкафами. Хельгу Доу я нашёл за третьим шкафом. Она была без шляпы, в том же чёрном платье, и ела хлеб с луком над раскрытым делом, подставив под крошки ладонь.

— Вельд, — Доу стряхнула крошки с ладони. — Вас не вызывали.

— Штраф. Тридцать арок, самовольное вмешательство, срок до конца года.

— Сегодня первое Одиннадцатого.

— Я знаю.

Она отложила хлеб. Посмотрела на кошель, потом на меня, с подозрением, которое у неё заменяло удивление.

— Я двадцать лет на этой службе. Штрафы мне носят в последний день, перед закрытием, и торгуются. За шесть последних лет вы первый, кто пришёл за два месяца до срока. Что случилось?

— Уезжаю. Могу не успеть обернуться.

— Куда?

— На восток. По делам конторы.

— На восток, — повторила она и стала считать золото. Считала она, как всё делала: без спешки, сдвигая монеты пальцем по одной. — Двадцать девять. Тридцать. Принято. Расписку вам, разумеется.

— Разумеется.

Пока она писала, я разглядывал шкаф. На корешках стояли названия мест: «Керн, Нижний. Цистерна», «Сальма. Опора», «Вязель. Мыза Орвик». Последнее было новое, корешок ещё белый.

— Ваши два дела советник Орм вернул, — Доу не подняла головы. — Оба. С резолюцией «заключение пристава не основано на статье». Я переписала заключение, сославшись на три статьи, и отправила в надзор, через его голову. Теперь мы с советником не здороваемся. Это экономит время.

— А надзор?

— Надзор думает. Он думает медленно, но бумагу не теряет, — она промокнула расписку. — И раз уж вы едете на восток. Я тоже еду. В Двенадцатом, первой неделей.

Я постарался, чтобы лицо у меня осталось как было.

— Соляная палата затребовала сводного пристава для описи. У них там намечена распашка какого-то места, а под местом, по их же сведениям, кладка. По уставу без нашей печати древнее не распахивают, даже если оно ничьё, — она протянула мне расписку. — Место в предписании не названо. Там прочерк. Я спросила в канцелярии, что значит прочерк. Мне ответили, что он значит прочерк.

— И вы едете описывать прочерк.

— Я еду туда, куда пошлют, Вельд. Мне за это платят сорок арок в год, и из них я ещё ни разу не заплатила штрафа, — она взялась за хлеб. — Если мы там встретимся, я вас не знаю.

Если вы там что-нибудь тронете руками, я вас знаю очень хорошо. Третье дело в мой портфель не влезет, придётся заводить второй.

Расписку я сложил и убрал в жилет. Архив мой подрос до семи единиц.

На лестнице я остановился и постоял, держась за перила. Кладка. Под городом, которого нет. Мне этого никто не обещал, и в формулировке у меня стояли шкатулка и голова, а не камни. Но я уже знал, как это бывает: едешь за чужим мужем, а находишь дверцу в стене и собственную руку на бронзе.

Правая ладонь под тряпицей зачесалась. Заживала.

* * *

Мерщик ждал меня на крыльце.

Он стоял под самой вывеской, облезлой, с лестницей маляра у стены, и читал записку, которую Никс прибил к двери месяц назад и которую я снял. Гвоздь остался. Он читал гвоздь.

— Реддик, — гость приподнял шляпу. — Ульф Реддик, мерщик Соляной палаты, третий округ. Я был у вас двенадцатого, девятнадцатого и двадцать шестого. Вы отсутствовали.

— Я видел. Вы оставили приписку.

— Я оставил три. Первые две кто-то соскоблил.

Ему было лет сорок. Длинный, тощий, с шеей, которой не хватало воротника, в синем казённом сюртуке с белым кантом. На поясе у него висел плоский кожаный футляр, и по тому, как он придерживал его локтем, я понял, что там счёты. Лицо у него было не злое. Такие лица бывают у людей, которые нашли ошибку в чужом столбике и не могут уйти, пока её не исправят.

— Недоимка внесена, — я полез в жилет. — Четыре арки шесть створок. Позавчера. У меня расписка.

— Тридцатого числа, вашим служащим, в третьем колоколе. Я принимал лично, — он расстегнул футляр. Счёты были маленькие, костяные, на двенадцать проволок. — Однако недоимка числилась за вами с четвёртого Десятого. Двадцать шесть дней просрочки. Пеня составляет одну петлю в день с каждой арки. Четыре арки с четвертью, округляя в пользу плательщика, до четырёх… — костяшки щёлкнули. — Восемь створок и восемь петель.

— Восемь створок.

— И восемь петель. Я могу показать расчёт.

— Не надо. Никс!

Никс высунулся из двери, увидел синий сюртук и исчез. Через минуту он вынес деньги, отсчитанные до петли. Реддик пересчитал, выписал квитанцию на бланке с печатью, подул на чернила.

— Далее, — Реддик спрятал квитанцию. — Вчера в лавке Бреккера на Соляном рынке госпожа Рейн, проживающая по этому адресу, приобрела мерной соли на шесть арок. Сто двадцать щепотей. При приостановленном дипломе исчислителя закупка свыше одной арки требует декларации о назначении. Декларации в лавке не оставлено.

— Она совладелица посреднической конторы. Соль для нужд конторы.

— Это и следует написать. Я принёс бланк.

Реддик действительно принёс бланк. Я позвал Адель. Она вышла в новых очках, которые оптик, вопреки обещанию, закончил на день раньше, прочла бланк дважды, спросила, что значит «назначение, не связанное с изменением свойств места», получила ответ, что это значит «не ломать стен», заявила: «Тогда я не могу подписать, я не знаю заранее», и Реддик, к моему изумлению, кивнул и вычеркнул строку.

— Честный ответ, — Реддик одобрительно хмыкнул. — Редкость. Впишите: «по обстоятельствам».

Пока она вписывала, он смотрел мне на жилет. Из кармана торчал угол расписки, ещё не убранный как следует, с красной печатью Палаты Сводов.

— Тридцать арок, — Реддик кивнул на мой жилет. — Сегодня утром. Я видел вас на площади, я шёл в канцелярию.

— Это не по вашему ведомству.

— Безусловно. Но контора, которая месяц не могла внести четыре арки, тридцатого числа платит недоимку, в тот же день покупает соли на шесть, а первого несёт тридцать в Палату Сводов. Сорок арок за два дня, — костяшки щёлкнули сами, под его пальцами, как у другого щёлкают чётки. — Я не спрашиваю откуда. Я не имею права спрашивать. Я только отмечаю, что цифры изменились, а когда цифры меняются, я хожу чаще.

— Ходите, — я развёл руками. — Нас не будет недель шесть.

— Вот как. И куда же?

— На восток.

Он поглядел через улицу. Человек в сером стоял у ворот нотариуса и разглядывал свои ногти.

— На востоке у нашей Палаты много интересов, — Реддик задумчиво постучал по футляру. — Желаю вам доброй дороги, господин Вельд. Берите расписки. Вы, я слышал, берёте. Это очень правильная привычка, она облегчает учёт.

Он поклонился Адель, застегнул футляр и ушёл, длинный, как циркуль. У ворот нотариуса он не остановился. Но серый посмотрел ему вслед, и я это запомнил.

* * *

К Хоббе мы с Адель попали в пятом колоколе.

Набережная Стекольщиков была мокрая, жёлтая от листьев. Колотушка у двери ударила дважды. В лавке пахло воском и жжёной бумагой, и я сперва не понял, отчего в ней шумно.

Тикало.

Часов у Хоббе было восемь: каминные, стенные, башенный механизм без циферблата, двое карманных под стеклом. Месяц назад все восемь стояли, и он говорил о них, как говорят о лежачих больных. Теперь у дальней стены ходил маятник корабельных, в медном кожухе, и ходил он ровно и громко.

— С двадцать третьего, — бросил Хоббе вместо приветствия. — С рассвета. Варр клянётся, что не заводил. Я ему верю: он боится их больше, чем меня.

Он был в бархатной домашней куртке, розовый, круглый, и держал в руке каминные щипцы. Посреди лавки, на сукне, стояла медная жаровня. Над жаровней стояла Эльза Морн.

Она была в том же сером платье. Под горлом, на чёрной ленте, висела гирька. Браслета на левой руке не было.

— Господин Вельд. Госпожа Рейн. Вы вовремя, мне как раз нужны свидетели не из числа служащих этой лавки.

— Мы назначили на Двенадцатый месяц, — пожаловался Хоббе. — Не позднее Двенадцатого. Она пришла первого Одиннадцатого и сказала, что «не позднее» включает в себя «сегодня».

— Включает, — Эльза даже не обернулась.

Векселей было шесть. Она брала их у Варра по одному, читала от шапки до подписи, называла вслух номинал и клала в жаровню сама. Хоббе только подавал щипцы. Бумага сворачивалась, чернела, и на каждом листе в последнюю секунду проступала подпись: «Ю. Морн», с длинным хвостом у «Ю».

— Двадцать арок, Третий месяц девяносто шестого. Двадцать, Шестой. Пятнадцать…

На шестом она помедлила. Шестой был выписан Барту и переуступлен; под подписью мужа стояла вторая, её собственная, с петлёй в «М», повёрнутой не в ту сторону.

— Одиннадцатый месяц девяносто пятого, — прочла она. — Подписано двумя лицами, из которых одно не подписывало.

И положила в огонь.

Когда догорело, она попросила у Варра перо и на обороте его обязательства написала: «Исполнено первого Одиннадцатого, при свидетелях Вельде и Рейн. Э. Морн». Сложила вчетверо.

— «Якорь» платит двадцатого, — Эльза повернулась ко мне. — Они прислали уведомление, с девятью петлями вычета, как я велела. Ваши тридцать арок я должна вам в тот же день.

— Нас не будет в городе.

— Тогда я оставлю их у нотариуса Тонка, под расписку, на ваше имя. Он возьмёт за хранение две створки. Вычесть из тридцати или приложить сверху?

— Приложить, — выпалил я, не подумав.

— Я так и полагала, — что-то тронуло угол её рта. — Сестра пишет, что третье колесо мелет. И что управляющий теперь обедает в доме. Она об этом пишет в самом конце, после цен на муку, чтобы я не подумала, будто это важно.

Она надела перчатки, штопанные на трёх пальцах. Перчатки были те же; штопка новая, в цвет.

Когда за ней закрылась дверь, Хоббе шумно выдохнул и поставил щипцы.

— Сто восемьдесят арок, — Хоббе вытер лоб. — Дымом. Я торгую тридцать лет и впервые сжёг товар сам, да ещё и подавал. Идёмте, госпожа Рейн. Ящик я обещал, а обещания у меня, как выяснилось, теперь исполняются досрочно.

Ящик был нижний, под лотком с пряжками. Адель села перед ним на пол, подобрав юбку, и больше мы её не слышали. Прориси лежали в нём стопками: тонкая бумага, натёртая графитом поверх бронзы, и на каждом листе один и тот же знак, а рядом насечки на крюке. Она раскладывала их по счёту насечек, как раскладывают карты.

— А вам, — Хоббе взял меня под локоть.— Я покажу вот что.

Он подвёл меня к часам. Не к корабельным. К каминным, в чёрном дереве, с пожелтевшим циферблатом. Они тоже шли. Я не заметил этого сразу, потому что они шли тихо.

— Эти я купил в девяносто втором. Вместе с бронзовой накладкой из Затонов, которую потом продал вашему брату. Они встали в тот же день, как накладка вошла в лавку. Стояли три года. А в девяносто пятом, в Восьмом месяце, пошли. Я решил: пружина. Вызвал мастера, мастер сказал, что пружина ни при чём, и взял с меня створку.

— А накладка?

— Накладку к тому времени увёз Гай. Куда, не сказал, — Хоббе понизил голос. — Я считал после Вязеля, господин Вельд. У меня восемь часов. Шесть стоят. Двое идут: одни с двадцать третьего числа, когда вы поставили щеколду. Другие с девяносто пятого, когда кто-то поставил что-то ещё. Я не спрашиваю кто.

— Шесть стоят.

— Шесть. По одним на каждую вещь, что прошла через мои руки из незапертых мест. Я не учёный. Я торговец. Но если вам когда-нибудь понадобится узнать, сколько ещё таких дверей притворено, приходите и считайте мои часы.

Адель у ящика подняла голову.

— Здесь прорись с девятью насечками, — Адель подняла лист к свету. — На обороте написано: «Гельт, нижний колодец. Прислал мастер Э. Сольм, 1081». Это вы писали?

— Я, — Хоббе обернулся. — Был такой солевар. Срисовал знак с бронзы у себя в колодце и спрашивал, что это и сколько стоит. Я предложил пять арок за саму вещь. Он ответил, что она не снимается: рука идёт мимо. Тогда я ещё не знал, что это значит. А почему вы спросили про Гельт?

Мы с Адель не посмотрели друг на друга. Это тоже ответ, и Хоббе тридцать лет читает такие ответы за прилавком.

— Понимаю, — Хоббе покивал. — Тогда дам совет, бесплатно. Сегодня у меня день убытков, одним больше. Каминные часы пошли в Восьмом месяце девяносто пятого. Если

окажетесь в тех краях, спросите, что там случилось в Восьмом месяце девяносто пятого. И кто после этого остался недоволен.

* * *

Маляра звали Сиверт, и красил он второго числа, с рассвета, потому что с полудня обещали дождь.

Доску он снял, положил на козлы посреди улицы и для начала отскоблил. Под облезлой зеленью открылась другая зелень, потемнее, а под ней серое дерево. Буквы были врезаны неглубоко, по старинке, и врезал их не маляр: брат резал сам, ножом, это было видно по тому, как у него всякий раз уезжала вправо перекладина у «Н».

Тарн стоял над козлами, заложив руки за спину.

— Одиннадцать букв во втором слове, — говорил он. — Вы написали десять. Пересчитайте. Вторая «н» после «ж».

— Дед, я тридцать лет вывески пишу.

— Тем более обидно.

Сиверт пересчитал, шевеля кистью в воздухе, плюнул и поправил.

Внизу доски, под названием, мелко шла ещё одна строка, почти стёртая. Я знал, что там: «Г. Вельд». Сиверт поскрёб её ногтем.

— Тут как писать? Как было?

Я не ответил сразу. На улице к этому часу собралось довольно народу, чтобы вопрос услышали все: нотариус Тонк в окне, мясник Крамп на крыльце с тазом, Бор у нашей двери, Никс на ступеньке. Адель вышла из дома с тетрадью и остановилась, не дойдя до козел.

— Как было, не надо, — я покачал головой.

— А как?

— «Вельд и Рейн».

Адель посмотрела на меня поверх новых очков. Потом обратилась к маляру ровным голосом, каким диктуют условия опыта:

— По завещанию доли равные, порядок фамилий там не определён. Пишите по алфавиту: «Вельд, Рейн».

— И компания, — подал голос Никс со ступеньки.

— Какая компания?

— Ну а мы кто?

— За «и компанию» ещё три петли, — Сиверт почесал кистью за ухом. — Это девять букв, и место надо ужимать.

Я заплатил три петли. Бор проводил их глазами.

— Компания, — Бор хмыкнул. — Это, выходит и я.

— Ты, он и то, что в шкафу.

— То, что в шкафу, я бы на вывеску не выносил, — заметил из окна нотариус Тонк. Это были первые слова, которые я услышал от него за три месяца, если не считать «две створки за копию».

К третьему колоколу пришла Марта Грейн, с корзиной, с Лине и с младшей, Юной, которая сразу села на корточки перед козлами и стала смотреть, как сохнет краска. Марта оглядела мужнин лубок, перевязала по-своему, туже, сунула ему в карман луковицу, а вторую, подумав, мне.

— От простуды, — Марта застегнула мужу ворот. — Ты в прошлый раз вернул. Теперь не возвращай, съешь.

Лине принесла четыре листа, исписанных с обеих сторон. Адель увела её в кабинет, и через открытую дверь я слышал, как они говорят: одна быстро и сбивчиво, другая медленно, с остановками, в которые, я знал, она рисует.

— Потери растут не с длиной, — говорила Адель. — Смотри. Сто шагов контура, двести, четыреста. Если бы мера уходила в провод, было бы вдвое и вчетверо. А у тебя по опыту выходит больше. Значит, она уходит не в провод. Она уходит куда-то, и чем длиннее контур, тем больше таких мест он задевает.

— Каких мест?

— Этого я тебе пока не скажу. Я скажу, что посчитать. Вот шесть задач, на шесть недель. Вот ключ от кухонной двери. Раз в три дня приходи, открывай окна, книги бери с нижней полки, с верхней не бери. Наверх не поднимайся. Совсем. Даже если что-нибудь услышишь.

— А что я услышу?

— Скорее всего, ничего. Но если услышишь, запиши день и час.

Марта, стоявшая рядом со мной, повернула голову.

— Это что же она там услышит?

— Мышей, — я пожал плечами.

— У вас мыши на третьем этаже, а зверь в шкафу их не ловит?

— Зверь едет с нами.

Крамп на своём крыльце опустил таз. Лицо у него сделалось как у человека, которому простили долг.

— Шесть недель, — Крамп ни к кому не обращался. — Шесть недель ледник будет стоять запертый, и из него ничего не уйдёт. Я, может, даже окорок повешу.

Доску повесили в пятом колоколе, до дождя. Тёмная зелень, белые буквы, все одиннадцать во втором слове. Внизу: «Вельд, Рейн и компания». Слово «компания» Сиверту пришлось ужать, и оно вышло тесным, плечом к плечу.

Я постоял под ней. Отсюда она выглядела как вывеска.

Как она выглядит оттуда, откуда её, по словам одного человека, видно, я не знал.

* * *

Служащий Дома Кастелл пришёл, когда краска ещё пахла.

Серый кафтан до колен, серебряная пряжка в виде ключа бородкой вверх. Молодой, вежливый, с папкой. Служащий вручил мне карточку на плотной бумаге, с тиснёным обрезом, и остался стоять у порога, не переступая. Их там, видимо, учат: через порог не дают, даже визитных карточек. Он дождался, пока я выйду к нему сам.

«Госпожа Кастелл будет признательна господину Вельду, если он найдёт возможным посетить контору на набережной третьего числа сего месяца, в четвёртом колоколе».

— Третьего в четвёртом колоколе я буду в сорока вёрстах отсюда, — я вернул ему карточку. — Передайте госпоже Кастелл мою признательность за её признательность.

— Госпожа Рен предполагала такой ответ, — он раскрыл папку и прочёл с листа, без выражения: — «В таком случае передайте на словах. В Гельте пусть спросит про колодец. Его брат был там в девяносто пятом году. Его там помнят, и не все добром. Когда вернётся, приглашение остаётся в силе».

Он закрыл папку, поклонился и ушёл по правой стороне улицы. Серый с жёлтым кантом стоял на левой. Они друг на друга не взглянули.

Я вернулся в приёмную и сел.

— Мох знает, куда мы едем, — я загибал пальцы. — Берта знает. Заречные знают. Кордон знает. Кастелл знает. Мерщик догадывается. Пристав Доу узнает, как только сложит мой восток со своим прочерком. По-моему, в этом городе остался один человек, который не знает, что Бюро едет в Гельт: маляр. И то я не уверен.

— Маляру я проболтался, — признался Никс. — Он спрашивал, чего спешим.

— Никс.

— Створку?

— Створку.

— Запишите.

Я записал. Третий его штраф. Первые два он отдал из первого жалованья, не моргнув, и теперь, кажется, считал, что открыл у меня счёт.

* * *

Остаток дня ушёл на то, что в книге расходов занимает полстраницы, а в жизни шесть часов.

Возок я нанял у Хольма, на Соляной заставе: крытый, на высоком ходу, с ящиком под сиденьем. Пара серых, не молодых, зато привычных к тракту. Четырнадцать створок до Затонов, овёс мой, обратно столько же, залог арка. Хольм спросил, не к варницам ли, и, не дожидаясь ответа, добавил, что к варницам нынче ездит много казённых и мало частных.

Пистолеты я купил у оружейника на Кожевенной, рядом с Аделиным оптиком. Пару подержанных пистолетов тесской работы, с кремнёвыми замками. Четыре арки с порохом и пулелейкой. Правой я ещё не мог как следует сжать рукоять и пробовал левой; оружейник глядел на это с сомнением и уступил шесть створок. Бор проворчал, что дубинка надёжней, не даёт осечек и не требует расписки. Расписку я взял.

Письма принесли в седьмом колоколе. Не Берта: двое мальчишек из слободы, с мешком из синей крашенины. Мешок был завязан и опечатан воском, а к горловине привязана бирка, и на бирке куриным почерком Кривой Лотты стояло: «213».

Мы пересчитали. Вчетвером, на моём столе, раскладывая десятками. Тарн считал тоже, я ему не мешал: считал он быстрее всех.

Письма были разные. На обёрточной бумаге, на обороте счетов, на лоскуте крашенины, на бересте. Половина сложена вчетверо, половина свёрнута трубкой и перевязана ниткой. Адресов в нашем смысле не было ни на одном. «Матери, у Нижних чанов, где была синяя дверь». «Братьям Юст, на третьей варнице, если стоит». «Тому, кто живёт теперь в доме Кромов». На одном, сложенном из листка в клетку, было написано одно слово: «Маме». И всё.

— Это как же вручать? — спросил Бор. — «Маме». Там матерей полгорода.

— Найдём, — Никс забрал листок.

Он держал это письмо в руках дольше, чем остальные. Потом положил в свой десяток, ровно.

— Двести тринадцать, — подтвердил Тарн. — С вашего позволения, господин Вельд. Сорок одно из них я могу надписать точнее: я помню, где стоял дом Кромов и кто жил у синей двери. Если, разумеется, отправители не будут возражать, что их письма трогал я.

— Отправителей тут нет. Надписывайте карандашом, сбоку.

Он сел надписывать. Никс следил за его рукой с тем же лицом, с каким накануне смотрел в чан.

Оставалась шкатулка.

Я дождался, пока Тарн уйдёт наверх, и закрыл дверь на лестницу.

— Три ночи нам дали, две прошли, — я сел на край стола. — Сегодня последняя. Если она придёт, то сегодня. Никс. Куда бы полез ты?

Никс не обиделся. Задумался, всерьёз, покусывая ноготь.

— Сперва где ценное держат все. Под подушкой у хозяина, под подушкой у клиента. Потом где ценное держит контора: железный ящик. У вас он под половицей у камина, третья доска от решётки, я его в первую ночь нашёл по скрипу. Замок там тесский, на три сувальды. Потом полки. Потом кабинет госпожи Рейн, но туда я бы не пошёл, там на пороге её бумага мушиная.

— Теперь на двух порогах, — Адель подняла палец. — И на лестнице. Я богатая, у меня сто двадцать щепотей.

— А в шкаф?

— В шкаф я бы не полез и за сто арок, — честно признался Никс.

Я думал про шкаф. Положить туда вещь значило спрятать её от любого вора в Ортене и отдать тому, кто уже двое суток сидел под полкой, задрав морду. Плюх не понимал слова «нельзя». Он вообще не понимал слов.

— Она не будет ночевать в этом доме, — я поднялся. — Бор.

— Ну.

— Заречная слобода. Заказ взяли Заречные. Где они станут искать в последнюю очередь?

Бор понял не сразу. Потом у него дрогнули плечи: он смеялся.

— У себя под носом, — Бор вытер глаза. — В хлебном ларе у жены отставного сержанта. Марта на него сядет.

— Сядет?

— Она на всё садится, что надо сберечь. Меня так дважды от патруля уберегла, когда я с жалованьем шёл.

Шкатулку он унёс под плащом, в корзине из-под пирогов, прикрыв полотенцем. А на полку к реестрам я поставил ларец, в котором брат держал печати: по размеру почти тот же, дуб, окован медью. Внутрь положил две Крамповы гири, занятые под честное слово, фунтов на семь. В железный ящик под третьей доской лёг кошель с двадцатью арками расходных.

Никс остался в приёмной, на скамье, в темноте, с ножом и с медным напёрстком Щегла на мизинце: надел, как объяснил, на счастье. Я лёг у себя, не раздеваясь, положив левую руку на пистолет. Адель обошла пороги и объявила, что до утра не уснёт.

Уснули все трое.

Я проснулся на рассвете от тишины. В доме не скрипело ничего. Я спустился. Никс спал на скамье, сидя, уронив голову на грудь, и рот у него был открыт.

Ларец стоял на полке. Я снял его. Замок был заперт. Я отпер его: гири оставались на месте, обе, но теперь лежали клеймом вниз, а я клал их клеймом вверх.

Третья доска от решётки была вложена как надо. Я поднял её. Железный ящик заперт. Внутри кошель, в кошеле двадцать арок. Я пересчитал дважды. Двадцать.

— Адель!

Она пришла босиком, с иглой. Обошла пороги. Кухонный: цел. Кабинет: цел. Лестница: цела.

— Через них никто не шёл, — Адель выпрямилась. — Ни одна нить не сорвана. Рик, это невозможно. Сюда нельзя войти, не задев хотя бы одной. И я не засыпаю, когда решила не спать. Я в Вязеле двое суток не спала и ещё считала тебя вслух.

— Усыпили?

— Следа нет. Ни корки, ни привкуса. Если это расчёт, то я таких не знаю. А если не расчёт… — она понюхала воздух, как нюхала замочную скважину. — Сладким пахнет. Чуть-чуть. Как от жжёного сахара.

— Окно, — Никс кивнул на раму.

Он проснулся и стоял посреди приёмной, очень бледный. Смотрел он на окно над моим столом. Рама была закрыта, шпингалет опущен. На подоконнике, с внутренней стороны, там, где у меня стоит стакан с перьями, лежало ещё одно перо. Не гусиное. Короткое, с ладонь, и по краю у него шла полоска: голубое, чёрное, голубое, чёрное.

Никс поднял левую руку. Растопырил пальцы.

Напёрстка на мизинце не было.

— Она сняла его с меня, — Никс уставился на свои пальцы. — С руки. Я спал, а она сняла. Вскрыла ящик, тесский, с обманкой на третьей сувальде. Ногтем, значит, потому что напёрсток тогда ещё был на мне. Пересчитала ваши арки. Не взяла. Заказ на шкатулку, а чужого сверх заказа… — он сглотнул. — Потом залезла в ларец. Поняла, что её обвели. И тогда подошла ко мне.

— И взяла напёрсток.

— За труды, — он всё смотрел на перо. — Вельд. Меня в жизни никто не обносил. Я у Мха с четырёх лет. У меня Бор за руку ловил, так он видел! А эта…

Никс не договорил. Уши у него были красные, но, насколько я разбираюсь в ушах Никса, не только от стыда.

— Створка, — я постарался не улыбнуться. — За то, что спал на посту.

— Запишите две, — Никс насупился. — Я их, кажется, заработал.

Перо он взял с подоконника сам. Повертел. И сунул не в карман, а за отворот шапки, туда, где носил раньше артельную булавку.

Через колокол мы выезжали. Возок ждал у Соляной заставы. Бор пришёл туда прямо из дома, с корзиной, и по тому, как он её нёс, было видно, что пироги в ней не главное. Двести тринадцать писем ехали в синем мешке, Плюх в моём дорожном ларце, клиент на заднем сиденье, с прямой спиной. Я запер дверь, подёргал. Над головой белела вывеска, все одиннадцать букв.

У заставы, возле будки сборщика, на казённом муле сидел человек в синем сюртуке с белым кантом. На коленях он держал плоский футляр. Увидев нас, он приподнял шляпу.

— Доброе утро, господин Вельд, — Ульф Реддик снова приподнял шляпу. — Мне предписано ехать на восток. Какое совпадение.

Глава 4

Мул у него был казённый, мышастый, с клеймом Палаты на крупе, и шёл он за нами ровно в ста шагах.

Я проверял. На первом подъёме за заставой придержал серых, и мул придержал. Пустил рысью под горку, и сзади зачастили копыта. Реддик сидел на нём прямо, не глядя по сторонам, с футляром на коленях, и шляпу придерживал двумя пальцами, как придерживают страницу.

— Он что, до самых Затонов так? — спросил Никс.

— Ему предписано.

— А если мы в кусты?

— Он подождёт у кустов.

Никс обернулся с козел, поглядел, плюнул через колесо. Мы с ним правили по очереди: Бор с лубком на козлах только мешал бы, Адель вожжей в жизни не держала, а клиенту я лошадей не доверил.

Правая рука у меня уже сжималась в кулак. Тряпицу я снял накануне. Под ней оказалась новая кожа, розовая и гладкая, и на ладони, от основания большого пальца наискось, шёл отпечаток: вытянутый, с перехватом, как лист ивы. Лепесток щеколды. Он остался на мне, как остаётся на хлебе след от формы.

Соляной тракт не похож на Плёсский. Тот идёт дамбой, вдоль воды, и его каждую весну латают. Этот положен по сухому, прямо, как отбивают шнуром, и колеи в нём по ступицу: его прорезали обозы.

Мы встретили первый ещё до полудня. Двенадцать фур, долгих, на шести колёсах каждая, под серой парусиной. На парусине через каждые три локтя висела коронная печать на шнуре, и по обе стороны ехала стража Палаты, шестеро, с короткими ружьями поперёк сёдел. Возчики на нас не смотрели. Стража смотрела.

— Сколько там? — спросил Никс, когда пыль осела.

— Варочной пудов по двести на фуру. Это для бочек и окороков. Мерная едет в седьмой, видел, с железной дверцей? Там её на весь обоз, может быть, пуд.

— А пуд — это…

— Не считай. Собьёшься и расстроишься.

Он всё равно стал считать, шевеля губами, дошёл до тысяч и замолчал. Щепоть мерной соли стоит створку. Пуда я в жизни не видел и не знаю людей, которые видели его не под ружьём.

Верстовые столбы стояли по левой руке, беленные снизу на треть. На каждом было выжжено число: сколько осталось до Затонов. Первый показал двести семьдесят. К вечеру мы дотянули до двухсот сорока, и я сложил, что девять дней выходит только-только, без дождей и без поломок.

Никс свистел.

Он начал после второго обоза, сам того не замечая, сквозь зубы, и свистел одно и то же: две ноты, вниз и вверх, с остановкой. Не песня. Так свистят собаке или подают знак через двор. Я слышал это от него и раньше, в сарае у Корня, когда он строгал клинья.

— Что это?

— Где?

— Свистишь.

— А, — он подумал. — Не знаю. Оно само. С малолетства, сколько помню. Мох ругался: вора, говорит, по свисту берут, отучись. Я на деле не свищу. Только когда руки заняты, а голова нет.

— А голова чем не занята?

— Трубой.

— Какой трубой?

— Вашей. Каминной, — он переложил вожжи. — Я всю ночь думаю, как она вошла. Пороги госпожи Рейн целы, это раз. Дверь на засове, засов я сам двигал, это два. Окно заперто изнутри. Шпингалет ниткой опустить можно, я умею: петлю накинул, раму притворил, потянул через щель, нитку выдернул. Но это выйти. А войти?

— И?

— Сверху. По водостоку на крышу, у вас там жёлоб крепкий, я по нему в первый раз лез. В трубу она не пролезет, там колено. А сыпануть в трубу можно. Камин мы на ночь не гасили. Что горит и пахнет жжёным сахаром, я не знаю, это тесское, у нас таким не работают. Мы уснули. Тогда она открыла окно снаружи, ножом под шпингалет, вошла, и пороги ей были ни к чему: окно-то госпожа Рейн не обвела.

— Я ей скажу.

— Не говорите. Она расстроится, — он помолчал и добавил с тоской: — А напёрсток с руки снять, чтоб не проснулся, — это я не знаю как. Это надо видеть.

— Увидишь. Она его, думаю, носит.

— Думаете?

— Никс. Смотри на дорогу.

Внутри возка шёл урок. Через кожаный клапан за моей спиной доносился голос Тарна, ровный, с остановками на запятых. Адель в первый же час попросила его продиктовать грамоту, все одиннадцать строк, раз уж он знает их наизусть: ей хотелось понять, что именно мы везём, не вскрывая. Он диктовал. «Мы, Эдвин, сего имени Второй, милостью Того, Кто Взвешивает, король Хальвена…»

На седьмой строке голос оборвался.

Я заметил это не сразу. Сперва заметил, что Никс всё ещё свистит, вниз и вверх, а за спиной тихо. Потом Адель что-то спросила, негромко. Ей не ответили. Потом Тарн заговорил снова, с того же слова, и договорил до конца, до «покуда стоит город».

Никс ничего не услышал. У него голова была занята трубой.

* * *

Ночевали в Малых Весках, в трактире «Белый вол».

Вол на вывеске был нарисован мелом, и нарисован недавно: видно, подновляют после каждого дождя. Тарн, выбравшись из возка в четыре приёма, первым делом прочёл вывеску вслух, потом прейскурант, прибитый у двери, потом объявление Палаты о ценах на соль в текущем месяце. Всё это он читал вполголоса, для себя, как другие с дороги умываются.

— Ночлег шесть петель, ужин четыре, — сообщил он мне. — Овёс мерой, мера две петли. Со вчерашнего дня соль варочная подешевела на полпетли за фунт. Мерная без изменений.

— Спасибо. Я умею читать.

— Не сомневаюсь. Но вы не читаете, а я не могу этого не делать.

Тарн пошёл к лошадям: хотел помочь распрячь. Никс, уже державший серую под уздцы, бросил, не оборачиваясь:

— Не трогай.

Тарн убрал руку. Постоял. Потом снял с задка возка свой узелок и понёс в дом, один, держась прямо.

Бор, сходивший следом, поглядел ему в спину, потом на Никса.

— Он тебе чересседельник хотел подать, — Бор кивнул вслед писарю.

— Сам возьму.

— Возьмёшь, — Бор подал чересседельник сам, здоровой рукой. — Только ты на него шесть недель так рычать собрался? Охрипнешь.

— Я не рычу. Я с ним не разговариваю.

— Это ты так думаешь. Со стороны слышней.

Шкатулку я внёс сам, в корзине, под полотенцем, и поставил в комнате под кровать, а на кровать посадил Бора. Ларец с Плюхом остался на крыше возка, привязанный двумя ремнями. Днём он ехал там же. Я рассудил так: Плюх ходит из одного запертого ящика в другой, и чем дальше эти ящики друг от друга, тем мне спокойнее. Адель заметила, что расстояние тут, по её мнению, ничего не значит и что я пытаюсь отгородиться от грозы забором. Но ларец с крыши не сняла.

Ужинали в общем зале. Гороховая похлёбка, хлеб, сыр, пиво для Бора. Соль стояла на каждом столе в деревянной плошке, насыпанная горкой, и никто на неё не глядел. В Ортене её подают щепотью на блюдце.

Реддик вошёл, когда мы доедали.

Мула он, как видно, устроил сам и сам же вычистил: на рукаве у него была шерсть. Он сел за соседний стол, спросил похлёбку без сыра и воды. Съел аккуратно, промокнул губы. Потом подозвал хозяина, показал ему какую-то бумагу с печатью, и хозяин, сделавшись серым, принёс из-за стойки приходную книгу.

Реддик раскрыл её, нашёл страницу и стал переписывать. Костяшки щёлкали.

— Он списывает, сколько мы съели, — зашептал Никс.

— Вижу.

— А зачем?

— Узнаю.

Я взял свою кружку и пересел за его стол. Он не удивился. Отодвинул книгу, чтобы мне было куда поставить локти.

— Господин Вельд.

— Господин Реддик. Вы за мной следите.

— Нет, — Реддик произнёс это с такой убеждённостью, что я на миг поверил. — Я не слежу. Следят те, кто прячется. Я еду открыто, в форме, на казённом муле с клеймом, и останавливаюсь в тех же заведениях. Я учитываю.

— Что?

— Ваши расходы. Мне предписано установить, из какого источника контора на Старых Весах получила не менее сорока арок в промежуток между двадцать восьмым Десятого и первым Одиннадцатого и на что эти средства расходуются. Предписание пришло второго числа, вечером, — он достал бумагу, развернул, положил передо мной, придерживая за угол. — Вот. Можете прочесть, оно не секретное.

Я прочёл. Печать была не третьего округа. Печать была Соляного кордона: столб и поперёк него черта. Подписано: «Д. Хаук, начальник кордона».

— Вы не из кордона.

— Я из третьего округа, господин Вельд. Я четырнадцать лет хожу по одним и тем же девяти улицам. Я знаю, сколько соли уходит у вашего мясника на окорок и сколько у нотариуса на печати. У меня на Кожевенной жена и репа в огороде, — он сложил бумагу по сгибам. — Меня выдернули, потому что вашу контору веду я, и никто в Палате не знает ваших цифр лучше. Мне дали мула и суточные, шесть петель в день. Ночлег здесь стоит шесть. Заметьте, что на ужин при этом не остаётся.

— Вы едите на свои.

— Я ем на свои и подам о возмещении, и мне откажут. Я это знаю так же твёрдо, как таблицу, — он посмотрел на меня без обиды. — Так что мне это предписание нравится не больше вашего. Но оно есть. А когда есть предписание, я его исполняю, потому что если каждый мерщик станет решать сам, какое исполнять, то завтра не будет ни Палаты, ни счёта.

— И вы пишете в отчёт, сколько мы съели гороха.

— Я пишу, сколько вы заплатили. За шестерых. Заметьте: за шестерых, хотя контора ваша числится в четыре души. Пятый — пожилой человек в чёрном, с писарской посадкой. Шестой — нечто, что едет на крыше в запертом ларце и за что вы тем не менее спросили у хозяина миску обрезков, — костяшка щёлкнула. — Обрезки хозяин не посчитал. Я отметил как даровое.

Я засмеялся. Не хотел, а засмеялся: человек внёс в отчёт Плюха.

— Послушайте, Реддик. А если я перестану брать расписки? Платить стану из кармана, без бумаги. Что вы тогда будете учитывать?

Реддик побледнел. Я не преувеличиваю: кровь отошла у него от щёк, как отходит у человека, при котором произнесли непристойность.

— Тогда, — произнёс он медленно. — Я буду вынужден оценивать ваши расходы по наивысшей ставке, принятой для данной местности. Ночлег по цене лучшей комнаты. Овёс по цене неурожайного года. Это есть в наставлении, параграф девятый. Вам это выйдет на бумаге втрое дороже, чем в жизни, и в отчёте вы окажетесь людьми, которые сорят деньгами. Таких Палата не любит особенно.

— А кого она любит?

— Тех, у кого сходится.

— У меня сходится.

— Я знаю, — Реддик сцепил пальцы на футляре. — Я три месяца вижу ваши цифры. У вас сходится до петли, даже когда сходиться нечему. Поэтому, господин Вельд, я вас прошу. Не как мерщик. Берите расписки. Мне так будет легче написать о вас правду.

Я вернулся за наш стол. Адель подняла брови.

— Он просит, чтобы я не бросал шестое правило, — я сел и придвинул кружку.

— Это правило твоего брата.

— Я помню, чьё оно.

— И ты его бросишь?

— Нет.

— Потому что он попросил?

— Потому что без расписок я через неделю сам не буду знать, сколько у нас осталось, — я допил. — Но мне не нравится, что человек, который за нами едет, знает про меня то же, что я сам.

— Мне это знакомо, — Адель поправила очки. — Я три месяца считаю твои слова.

— Считала.

— Считаю. Я просто перестала говорить итог.

* * *

Первая застава Палаты стояла на четвёртый день месяца, у Камышина брода, где тракт сходит к мелкой рыжей речке и поднимается на тот берег.

Шлагбаум, будка, навес для досмотра. Под навесом длинный стол, обитый жестью. Рядом с будкой столб, на столбе стеклянный фонарь, а в фонаре, вместо свечи, игла на нити, с мой палец длиной. Она висела отвесно, пока мы не подъехали, а когда серые встали у шлагбаума, качнулась и показала на возок.

— Мерное везёте, — заставный не спрашивал, а утверждал. Он был в синем, как Реддик, только кант у него выцвел до серого. — Сколько и чьё?

— Сто двенадцать щепотей. Моё, — Адель уже стояла на подножке, с сумкой и с лавочной квитанцией. — Куплено в Ортене тридцатого, у Бреккера, печать вот. Было сто двадцать, восемь израсходовано на охранные контуры по месту жительства. Декларация о назначении подана первого числа мерщику третьего округа.

Заставный взял квитанцию, посмотрел на неё, на Адель и опять на квитанцию. Ему, как я понял, нечасто отвечали на вопрос раньше, чем он его задаст, и с точностью до щепоти.

— Проездной сбор петля с горсти. Девять горстей и четыре щепоти. Десять петель.

— Девять горстей и четыре щепоти — это девять с третью. Округляете в свою пользу?

— В пользу Палаты, барышня. Так в наставлении.

— Я не барышня. Я бывший адъюнкт.

— Тогда тем более десять.

Я заплатил десять и взял расписку. Заставный оторвал её от корешка, не глядя, и пошёл вокруг возка с шестом, на конце которого болталась вторая игла, поменьше. Постучал по колёсам. Заглянул в ящик под сиденьем: корзина с пирогами, под полотенцем. Потянулся к полотенцу.

Сзади застучали копыта, неторопливо. Реддик подъехал, слез, размял поясницу и, ни слова не говоря, подал заставному свою бумагу с печатью кордона.

Тот прочёл. Убрал руку от корзины.

— Ведёте их?

— Учитываю. От Ортена.

— Давно?

— Второй день. Всё записано, до овса.

— Ну, раз записано, — заставный вернул бумагу, махнул будочнику, и шлагбаум пошёл вверх. — Чего я их трясти буду, раз они под третьим округом. Проезжайте.

Синий мешок с двумястами тринадцатью письмами лежал у Никса под ногами, на козлах, прикрытый попоной. В его сторону никто не взглянул.

Мы переехали брод. На том берегу я оглянулся. Реддик садился на мула, и садился он долго, со второй попытки, а сев, поправил футляр и поехал: в ста шагах.

— Он нас провёл, — Никс обернулся на мерщика. — Через заставу. Вы видели? Тот уже в корзину лез.

— Видел.

— Нарочно?

Я не знал. Вечером, на постое, я спросил его самого, и Реддик ответил, глядя на меня с лёгким недоумением:

— Досмотр не входит в мои полномочия, господин Вельд. Я лишь предъявил предписание, как обязан на каждой заставе. Какие выводы из него делает заставный, меня не касается. Я не знаю, что у вас в корзине, — он помедлил. — И, по правде говоря, предпочёл бы не знать и далее. Того, что я знаю, мне пока хватает для отчёта.

Я так и не решил, что это было. Человек, которого приставили к нам хвостом, оказывался чем-то вроде подорожной. Пока он ехал позади и записывал горох, нас не трясли: мы уже были чьи-то.

* * *

За бродом земля пошла другая. Холмы легли положе, леса кончились, и по гребням встали ветряки: вода здесь мелеет к лету, и мелют ветром. Трава пожухла раньше, чем у нас. Колодцы при дороге были обложены белым камнем, и возле каждого висела доска с ценой: ведро для лошади, полпетли. Соль дешевела с каждым перегоном, вода дорожала.

Адель ехала у окна, с тетрадью на колене. Тарн сидел напротив.

Я слышал их разговоры обрывками, когда отдавал вожжи Никсу и пересаживался внутрь. Клиент, выяснилось, умел не только диктовать. Он умел слушать, и слушал он так же, как читал: всё подряд, не пропуская.

— Вы говорите «мера», — заметил Тарн на третий день. — У нас говорили иначе. Не в весовой, в варницах. Старые солевары считали, что соль помнит.

— Что помнит?

— Где лежала. Ту, что из верхних чанов, брали в засол. Ту, что из нижнего колодца, не солили ею ничего: её сушили отдельно, на северной стороне, и продавали вашим расчётчикам, втрое. Говорили: нижняя помнит дольше.

— Заряжается при жиле, — Адель кивнула. — Это известно. Чем ближе к жиле, тем полнее.

— Вероятно. Я писарь, а не исчислитель. Но мастер Сольм, старшина нижней варницы, говорил не «заряжается». Он говорил: «она оттуда тянет». И показывал рукой вниз.

Адель записала. Я видел, как она подчеркнула слово дважды.

— Сольм. Э. Сольм?

— Эверт. Вы о нём слышали?

— Видела его руку. На одной бумаге, — она не стала уточнять. — Он был в числе семерых?

— Он был вторым после головы. Его отправили в Затоны. Жив ли он, я не имею сведений.

На этом он замолчал и стал смотреть в окно, на ветряки. А я вспомнил первый день, седьмую строку.

Спросил я её вечером, у колодца, пока Никс поил серых.

— Он сбился, — Адель оглянулась на костёр. — Я хотела тебе сказать и ждала, пока он отойдёт. На седьмой строке, на слове «невозбранно». Он не сбивается, Рик. Он диктует, как метроном. Я за три дня записала за ним четыре страницы, и это единственное место, где мне пришлось ждать.

— Что его сбило?

— Никс. Он свистел на козлах. Две ноты. Клиент замолчал, повернул голову к клапану и сидел так, пока не кончилось. Потом спросил меня, сколько молодому человеку лет.

— Ты ответила?

— Я ответила: двадцать один. Это не секрет, это записано в твоей книге расходов, — она сняла очки и стала протирать их подолом. — А он: «Благодарю». И продолжил со слова «невозбранно». Но до вечера ни разу не посмотрел в сторону козел. Так не смотрят, когда очень хочется посмотреть.

Я стоял с ведром и считал. Считать было нечего, цифр всего две: двадцать один и три. Мальчику из Гельта было три года зимой восемьдесят седьмого. Таких мальчиков, по словам Берты, вывезли одиннадцать, а осталось в городе, наверное, сотни. Писарь мог услышать знакомый свист, и это ничего бы не значило: так, может быть, свистит полгорода.

— Ты думаешь то же, что я, — Адель внимательно посмотрела на меня.

— Я ничего не думаю. У меня две цифры и свист.

— У меня тоже. Я поэтому и не говорю «думаю». Я говорю: отметила.

Она подняла руку и взяла меня за запястье, двумя пальцами, как брала в развалинах у Сухого Брода. Подержала. Я не отнял.

— Ровный, — Адель отпустила моё запястье. — И тёплая. До локтя, я проверила. За три дня ни одного шва, ни одного старого камня, игла висит, как гиря. Тебе здесь нечего трогать.

— Скучаешь?

— Отдыхаю, — она отпустила. — Я не знала, что так бывает: ехать и ничего не мерить.

* * *

В полдень пятого числа, на привале у колодца, Реддик закричал.

Кричал он негромко и как-то по-канцелярски, одним слогом, но мул под ним прянул, а сам он слез, держа футляр на вытянутых руках, как держат таз с кипятком. Мы стояли в ста шагах. Я пошёл к нему. Бор за мной.

— Господин Вельд, — голос у мерщика был очень ровный. — У меня в футляре что-то дышит.

Футляр был застёгнут на оба ремешка. Реддик расстегнул их при мне, отвернув лицо, и откинул крышку.

Внутри, на бархатной подкладке, где полагалось лежать костяным счётам на двенадцать проволок, спал Плюх. Он лежал на спине, свесив уши за край, и помещался в футляре весь, хотя футляр был ему мал на треть. Как помещался, я объяснить не берусь. На бархате вокруг него было серо от песка.

— Это ваше, — Реддик протянул мне футляр.

— Это инвентарь.

— Оно ехало на крыше. В ларце. Под двумя ремнями. Я отметил это утром: ларец на месте, ремни затянуты.

Я посмотрел на возок. Ларец стоял на крыше. Ремни были затянуты.

— Где мои счёты? — спросил Реддик, и тут голос у него всё-таки дрогнул. — Им двадцать два года. Мне их вручили при вступлении в должность. Слоновая кость, клеймо Палаты на раме.

Я вынул Плюха. Он был тёплый, тяжёлый и недовольный; открыл один глаз, поглядел мимо меня и закрыл. Бор уже шёл к возку. Снял ларец, поставил на подножку, я отпер.

Счёты лежали там, на моей книге расходов. Целые, все двенадцать проволок, и на раме клеймо: столб с чертой.

Реддик взял их обеими руками. Пересчитал костяшки. Их оказалось сколько надо, и он медленно выдохнул.

— Футляр был заперт, — Реддик прижал счёты к груди. — При мне. На коленях. Я не выпускал его с рассвета.

— Знаю.

— Ларец был заперт. На крыше. В ста шагах.

— И это знаю.

— Тогда каким образом?

Адель подошла, поглядела в футляр, потрогала песок на бархате и понюхала палец.

— Он ходит из одного закрытого места в другое, — Адель вытерла палец о юбку. — Напрямую. Расстояние, насколько я понимаю, для него не имеет значения, хотя господин Вельд надеялся на обратное. Иногда он что-нибудь переносит. Обычно не то и не туда. Я записываю каждый случай, этот двадцать шестой.

— Это расчёт?

— Нет. Игла на него не отзывается. Можете проверить своей.

Реддик проверил. Он достал из-за обшлага казённую иглу в жестяной трубке, подержал над Плюхом, над футляром, над песком. Игла висела отвесно.

Он долго молчал. Потом раскрыл книгу, послюнил карандаш и стал писать, выговаривая вслух, как школьник:

— «Пятого числа, в полдень, из запертого футляра изъяты счёты казённые, одни. Обнаружены в запертом ларце проезжающих. Возвращены владельцу в целости. В футляре на месте счётов найдено существо неустановленной природы, одно, принадлежащее проезжающим. Способ изъятия не установлен. Мерной соли при этом не израсходовано», — он поднял глаза. — Вес существа?

— Фунтов одиннадцать, — я прикинул на руке. — После колбасы двенадцать.

Он вписал: «11–12 ф.».

— Я обязан спросить, господин Вельд. Оно может таким же образом изъять что-либо из запертой казённой фуры? Из соляного ящика?

— Может, — опередила меня Адель, прежде чем я успел наступить ей на ногу. — Теоретически. Но он не понимает просьб. Его нельзя послать за чем-то. Он берёт то, что берёт.

— Благодарю за честный ответ, — лицо у Реддика было несчастное. — Я не стану вносить «теоретически». В наставлении нет такой графы.

Он убрал счёты в футляр и застегнул оба ремешка. Подумал. Расстегнул, вынул счёты и сунул за пазуху, а футляр повесил на пояс пустым.

До вечера он ехал, прижимая локоть к груди.

* * *

На ночь мы в тот день встали не в трактире. Трактира на этом перегоне нет, есть обозный двор у Трёх Колодцев: квадрат утоптанной земли, обнесённый стеной от ветра, с навесами по краям и с кострищами посередине. Палата держит такие через каждые шестьдесят вёрст, для своих фур. Частных пускают за две петли с колеса, если есть место.

Место было. Под дальним навесом стоял обоз, порожний, шедший на восток за грузом. Возчики варили кулеш. Реддик, заплатив свои две петли с мула, у которого колёс не было, чем привёл сторожа в замешательство, устроился у стены, расстелил попону и раскрыл на колене книгу.

Тарн сидел отдельно, на оглобле, спиной к огню, и писал. Писал каждый вечер: доставал из бумажника книжку в ладонь, чернильный карандаш, и выводил одну строку. Одну, не больше. Я спросил на второй день, что это. Он ответил: «Что сделано за день. Я веду её с восемьдесят седьмого. Раньше мне было нечего в неё вносить, и я писал: Переписано листов столько-то»».

Мы сидели втроём у своего костра. Бор держал лубок к теплу. Никс ковырял ножом палку и на этот раз не свистел.

— Сержант, — вдруг окликнул Никс. — Вот у тебя Тиль.

— Ну.

— Ему двенадцать. А было бы три. И голод, и кордон, и неизвестно, что завтра. И обозник говорит: давай вывезу. Ты бы отдал?

Бор не ответил сразу. Подобрал щепку, бросил в огонь, посмотрел, как занялась.

— Отдал бы, — Бор отряхнул ладони.

— Чужому?

— Чужому. Если б знал, что тут помрёт, а там, может, нет. Отдал бы и в руки ему денег сунул, сколько есть, — он помолчал. — А потом всю жизнь стоял бы у ворот.

— У каких?

— У любых. Откуда видно дорогу.

— Эти не стояли.

— Откуда ты знаешь? — нахмурился Бор. — Ты там был? Там кордон стоял. Через него и письма не шли, вон, мешок под попоной. Двести тринадцать человек не стояли у ворот восемнадцать лет? Или им ворот не оставили?

Никс воткнул нож в землю.

— Я не про тех. Я про своих. Кто отдал.

— А я про кого.

Молчали долго. Возчики под навесом затянули что-то протяжное, про белую воду.

— Мох сказал: спроси кривого, — выговорил Никс. — Я ответил, не буду. А теперь еду и думаю: вот приду я туда. Двести писем. В каждую дверь стучать, «вам письмо». И в какой-нибудь двери откроет баба. И я не узнаю. И она не узнает. Отдам письмо и дальше пойду.

— А если узнает? — спросил я.

— С чего? Мне три было. Я с тех пор нос сломал.

— Нос ломают спереди. Со спины ты, может, тот же.

Он посмотрел на меня, проверяя, шучу ли я. Я и сам не знал.

— Вельд. Вы своего сколько не видели? Четырнадцать лет?

— Шестнадцать, если считать с Брода. Четырнадцать, если с кухни.

— И узнали.

— Он поседел. Морщины. А стоит так же: плечом к стене, руки на груди. Я его по тому, как стоит, узнал бы и со спины.

— Вот, — Бор ткнул в его сторону щепкой. — А я что говорю.

Никс выдернул нож, вытер о штанину.

— Не буду я спрашивать кривого, — Никс сунул нож за голенище. — Письма разнесу, и всё.

Никс ушёл к лошадям. Бор проводил его взглядом и, не поворачивая головы, заговорил со мной вполголоса:

— Писарь на него глядит.

— Знаю.

— Нет, ты послушай. Не как на того, кто обидел. Я этот взгляд знаю. Я так на Тиля гляжу, когда он на крышу лезет, а окликнуть нельзя: сорвётся, — Бор пошевелил пальцами в лубке. — Старик что-то про малого понял. Или думает, что понял. И молчит, потому что боится окликнуть.

— У меня две цифры и свист.

— У меня ни одной цифры. У меня двадцать шесть лет на людей смотреть.

Я хотел ответить, но у костра встал Реддик. Он подошёл неслышно, в носках: сапоги сушились у стены.

— Прошу извинить. Я не подслушивал, я ждал, пока вы договорите, — он держал свою книгу закрытой, заложив пальцем. — Завтра к вечеру Ладень. Там окружная застава, не такая, как у Камышина. Досмотр полный: поклажа, одежда, подкладка. Вскрывают всё, что заперто. Моё предписание там не поможет: в Ладене сидит инспектор кордона, на два чина старше меня. Он спросит не «учитываются ли», а «что везут».

— Зачем вы мне это говорите?

— Затем, что он спросит и меня. И я обязан буду ответить по правде. Сейчас правда такая: «Не знаю», — Реддик поглядел на корзину под полотенцем, которая стояла у Борова колена. — Я хотел бы, чтобы она такой и осталась. Спокойной ночи.

Он ушёл к своей попоне. Мы смотрели ему вслед.

— Вскрывают всё, что заперто, — повторил я.

— А письма? — спросил Бор.

— Письма я рассую по сёдлам и за пазухи, это бумага. А семь фунтов дуба с железом за пазуху не сунешь.

Бор почесал бровь, ту, рассечённую. Он всегда так делал, когда собирался сказать очевидное и стеснялся, что оно очевидное.

— А зачем её вообще везти? — Бор опустил руку.

— То есть?

— Ну, нам. Самим. Есть же почта.

Я открыл рот. Закрыл.

— Королевская, — продолжал Бор. — В Ладене почтовый двор, я вывеску на подорожной карте видел. Почту Палата не досматривает: почта под Весовой, у них свои печати, и они друг друга терпеть не могут ещё с тех пор, как я в наряды ходил. Сдал, получил квиток, и она едет в казённой карете, под замком, с охраной. Быстрей нас.

— На Гельт почта не принимает.

— А нам и не на Гельт. До Затонов. До востребования, на его имя. Он отправитель, он и получатель. Приедем, предъявит квиток и заберёт.

Тарн на своей оглобле перестал писать. Слышал. Медленно поворачивался к нам, всем корпусом, как поворачивается человек с больной шеей.

— Я восемнадцать лет не выпускал её из рук, — голос у писаря стал глухим.

— Позавчера она ночевала в хлебном ларе у моей жены, — Бор усмехнулся. — Жена на ней сидела. Вы пережили.

Тарн посмотрел на корзину. На меня. На Никса, который возвращался от лошадей и ещё ничего не знал.

— Королевская почта, — произнёс он, будто пробовал слово на зуб. — В место, куда она не ходит, шкатулку повезёт она сама. С вашего позволения, господин Вельд: это либо очень умно, либо я восемнадцать лет был дураком.

— Одно другому не мешает, — Бор подбросил в огонь щепку.

Глава 5

В Ладене два казённых двора, и стоят они на одной площади, лицом к лицу, как двое, которые не разговаривают.

Слева застава Соляной палаты: ворота, обитые жестью, навес, столб с иглой, серые кафтаны. Справа почтовый двор Весовой: жёлтая штукатурка, часы над аркой, конюшня на сорок лошадей. Над почтой висит рожок, над заставой столб с чертой. Между ними колодец, и воду из него, как нам объяснили, берут по очереди: до полудня застава, после почта.

Мы въехали в город в пятом колоколе шестого числа и на заставу не свернули. Я поставил возок у колодца, ровно посередине.

— Письма, — я откинул полог возка. — Сейчас. По сорок на душу.

Мешок развязали в возке, задёрнув клапаны. Двести тринадцать писем разошлись на пятерых: за пазухи, в голенища, под подкладку шапок. Адель заложила свою долю между страницами тетради, и тетрадь стала вдвое толще. Бор сунул пачку в лубок, под бинт. Тарн взял сорок три, те, что надписывал сам, сложил стопкой, обернул платком и убрал во внутренний карман сюртука, к бумажнику.

Никс поглядел на это и промолчал. Письмо с одним словом «Маме» он ещё в Ортене положил отдельно; куда, я не видел.

— Теперь шкатулка. Мэтр Тарн, вы идёте со мной. Остальные ждут здесь, на виду. Если из тех ворот выйдут и спросят, что мы делаем, отвечайте: поим лошадей.

— Сейчас очередь почты, — заметила Адель. — Застава берёт до полудня.

— Тогда отвечайте, что мы при почте.

Корзину нёс я. Тарн шёл рядом, на полшага позади, и на корзину не смотрел. Он смотрел на вывеску почты, шевеля губами.

Приёмная была узкая, с барьером поперёк. За барьером, под окном, сидел почтовый чиновник, круглоголовый, в жёлтом казённом сюртуке, и что-то подклеивал. На стене за ним висели правила, в рамке, в шесть столбцов. Тарн встал перед ними и стал читать с первого.

— Отправление, — я положил шкатулку на стойку. — До Затонов. До востребования.

— Письмо, пакет, посылка?

— Посылка.

Я поставил корзину на барьер и снял полотенце.

Чиновник поглядел на шкатулку, как глядят на вещь, которую придётся взвешивать. Вытащил из-под стола весы с плоской чашей.

— Заперта?

— Заперта.

— Содержимое?

— Бумага и бронза.

— Жидкое, горючее, живое?

— Нет.

— Соль мерная, соль варочная свыше фунта?

— Варочная, для сохранности. Меньше фунта.

— Это можно, — он переставил шкатулку на чашу, подвигал гирю по коромыслу. — Семь фунтов с четвертью и… — гирька поменьше. — Без малого. Семь с четвертью. До Затонов сто пятьдесят вёрст, третий пояс. Девять створок за вес, две за хранение до востребования, тридцать дней. На чьё имя?

— Виллем Тарн, — писарь не отрывался от правил. — Отправитель и получатель одно лицо. Параграф четырнадцатый это дозволяет, я прочёл.

— Дозволяет. Объявленная ценность?

Я посмотрел на клиента. Он обернулся.

— Что это значит?

— Во сколько оцениваете. На случай утраты. С объявленной ценности страховой сбор, петля с арки.

Тарн молчал. Я видел, как он честно пытается это сосчитать: во что обходится городу в четыре тысячи душ потеря одиннадцати строк на пергаменте.

— Она не имеет цены, — наконец выдавил Тарн.

— Такой графы нет, — чиновник постучал пером по бланку. — Есть «без объявленной ценности», тогда при утрате возмещаем створку с фунта. Или цифра.

— Арка, — я опередил писаря.

— Господин Вельд!

— Одна арка. Сбор петля. Если она пропадёт, мэтр, нам с вами будет всё равно, во сколько её оценили. А если я напишу сто, то на заставе через площадь к вечеру узнают, что через Ладень проехала посылка в сто арок весом семь фунтов.

Чиновник поднял на меня глаза. Впервые. Потом покосился в окно, на жестяные ворота.

— Узнали бы, — чиновник понизил голос. — У них там человек сидит, списки наши смотрит. Каждый вечер. Мы не обязаны показывать. Мы показываем то, что обязаны: имя и пояс, — он подтянул к себе бланк. — Ценность арка. Одиннадцать створок и петля.

Я заплатил. Он обвязал шкатулку шнуром крест-накрест, растопил на свечке сургуч, жёлтый, и приложил печать: рожок и весы. Потом вторую, на узел. Надписал бирку. Оторвал квиток, длинный, на плотной бумаге, с номером.

— Распишитесь. Здесь и здесь.

Тарн расписался. Буква за буквой, отдельно.

Чиновник взял шкатулку, чтобы унести за перегородку. И тут клиент сделал то, чего я от него не ждал: положил на крышку ладонь. На то самое место, вытертое до светлого.

Тарн не держал. Просто не убирал руку.

— Мэтр, — я тронул его за локоть.

— Одну минуту, — голос у него был ровный. — Я знаю, что так нужно. Я сам переписывал почтовый устав. Параграф второй: «Принятое почтой считается находящимся в руке короля». Я всегда находил эту фразу красивой. Теперь она мне не нравится.

— В руке короля надёжнее, чем в корзине.

— В восемьдесят шестом я тоже так рассудил. Про грамоту и про короля.

Чиновник ждал. Он, судя по лицу, видел всякое: с посылками расстаются по-разному.

— Она уходит завтра на рассвете скорой почтой, — чиновник обращался к Тарну, а не ко мне. — Скорый почтовый рейс идёт с переменой на каждой станции и занимает трое суток. Девятого к ночи она будет в Затонах. В карете, кроме кондуктора, двое с ружьями, и ящик у них прикован. За четырнадцать лет, что я тут сижу, мы потеряли одну посылку, и то её съели мыши. Вашу мыши не съедят.

Тарн убрал руку. Шкатулку унесли. Он проводил её глазами до перегородки, потом достал бумажник, вложил квиток между чистыми листами, рядом с запиской, и застегнул.

На крыльце писарь остановился и произнёс, глядя на колодец:

— Семнадцать лет, одиннадцать месяцев и восемь дней. Я считал, пока он писал бирку. Обычно я округляю.

— С какого числа?

— С того вечера, когда положил её под плиту.

* * *

Через площадь нас уже ждали.

Ворота заставы стояли открытыми, и в воротах стоял человек в сером. Жёлтый кант шёл у него не только по вороту, но и по обшлагам, а на плече был нашит столб с чертой. Инспектор.

Лет сорока пяти, сухой, с обветренным лицом человека, который много ездит верхом и мало спит под крышей. За ним четверо.

— Возок из Ортена, — инспектор оглядел нас. — Шестеро и поклажа. Прошу под навес.

Он не повышал голоса. Я вспомнил слова Тарна: очень вежливые.

Трясли нас долго и умело. Поклажу выложили на жестяной стол и перебрали каждую вещь. Сёдел у нас не было, зато были хомуты, и хомуты прощупали. Простукали дно возка. Вскрыли ящик под сиденьем: пусто. Сняли с крыши ларец.

— Заперто. Ключ.

Я дал ключ. Инспектор отпер сам. Плюх лежал на книге расходов, свернувшись, и не проснулся.

— Это что?

— Инвентарь. В отчёте мерщика третьего округа значится как «существо неустановленной природы, одно». Запись от пятого числа.

Инспектор обернулся. Реддик стоял у столба, держа мула в поводу, и кивнул.

— Подтверждаю. Одиннадцать — двенадцать фунтов. Мерной соли не содержит, иглой проверено.

Инспектор закрыл ларец. Запер. Вернул мне ключ двумя пальцами.

Потом взялись за нас.

Письма нашли сразу. Их и нельзя было не найти: у Бора из лубка торчал угол, у Никса из-под шапки высыпалось, едва он её снял. Через четверть колокола на жестяном столе лежала груда бумаги, бересты и крашенины, и серый кафтан считал её вслух.

— Двести тринадцать, — инспектор выровнял груду ладонью. — Без марок. Без штемпеля. Без адресов, — он взял одно, верхнее, и прочёл: — «Братьям Юст, на третьей варнице, если стоит». Какой варнице? Где?

Я молчал. Отвечать «в Гельте» человеку с нашивкой кордона было то же, что самому лечь поперёк седла.

— Частная доставка писем в обход королевской почты, — инспектор сложил руки за спиной. — Облагается сбором в пользу казны, створка с письма. Неуплата — изъятие. Двести тринадцать створок. Десять арок тринадцать створок. Платите?

— За что?

— За письма.

— Простите, — Реддик шагнул вперёд.

Он подошёл к столу. Мула привязал. Футляр у него висел на поясе пустой, счёты он достал из-за пазухи и держал в руке.

— Господин инспектор. С вашего разрешения, справка. Сбор за частную доставку взимается на основании наставления, параграф четвёртый, пункт «в». Я его помню. «С письма, доставляемого частным лицом в место, означенное в Реестре».

— И что?

— На этих письмах место не означено. Ни на одном. Здесь написано: «у Нижних чанов», «где была синяя дверь», «Маме», — он брал их по одному, двумя пальцами, и клал обратно. — Таких мест в Реестре нет. Я могу поручиться, я знаю Реестр третьего округа наизусть и остальные в объёме экзамена. Следовательно, с точки зрения наставления это не письма.

— А что же это?

— Бумага, исписанная с одной стороны. Частью береста. Провоз исписанной бумаги сбором не облагается, — костяшка щёлкнула. — Если бы облагался, мне пришлось бы платить за собственный отчёт.

Инспектор смотрел на него долго. Четверо в сером тоже смотрели.

— Мерщик, — инспектор прищурился. — Вы на чьей стороне?

— На стороне параграфа четвёртого, — ответил Реддик. — Я не умею быть ни на какой другой. Если вы взыщете сбор, вы тем самым письменно признаете, что место назначения этих писем существует и означено. Я обязан буду внести это в отчёт. Отчёт пойдёт начальнику кордона. Я не знаю, обрадует ли его такая запись.

Стало тихо. У колодца скрипнул ворот: почтовые набирали воду в свою очередь.

Инспектор положил письмо на груду.

— Заберите, — инспектор кивнул мне. — Бумагу.

Никс собирал письма в мешок обеими руками, быстро, пока не передумали. Одно упало. Тарн нагнулся и поднял, в четыре приёма, как вставал со стула.

— Теперь шкатулка, — инспектор повернулся к писарю.

— Какая?

— Дубовая, окованная, без ручки. Наш человек в Ортене видел, как её внесли в вашу контору двадцать девятого числа. Он же видел, как вы выехали третьего. Шкатулку из дома не выносили. В возке её нет. На вас её нет, — он повернулся к Тарну. — Виллем Тарн, переписчик. Вас месяц назад сняли с Черты. Где вещь?

Я успел подумать, что клиент не умеет лгать. За неделю я не слышал от него ни одного слова неправды; умолчания были, но умалчивал он честно, с предупреждением.

— Я сдал её на хранение королю, — Тарн смотрел инспектору в глаза.

— Что?

— Королевской почте. Час назад. Параграф второй почтового устава: «Принятое почтой считается находящимся в руке короля». Квиток при мне. С вашего позволения, я его не покажу: устав не обязывает отправителя предъявлять квиток кому-либо, кроме почтового чиновника в месте выдачи.

Инспектор оглянулся через площадь, на жёлтую штукатурку. Часы над аркой показывали шестой колокол без четверти.

Я видел, что он прикидывает. Перейти площадь. Потребовать. Чиновник с круглой головой ответит, что покажет имя и пояс. И больше ничего: между этими двумя дворами был колодец, из которого пьют по очереди.

— Умно, — вежливости в инспекторе поубавилось. — До востребования?

— Не имею обязанности отвечать.

— До востребования. В Затоны, куда ж ещё, — он кивнул одному из своих. — Коня. Скорая уходит на рассвете и идёт трое суток. Нарочный дойдёт за двое. Начальник кордона узнает раньше, чем ваша посылка увидит Затоны, господин Тарн. И встретит. Почту он вскрыть не вправе. А встретить вправе.

— Я на это и рассчитывал, — я улыбнулся.

Это была неправда. Я на это не рассчитывал: я надеялся, что про почту не узнают до самых Затонов. Но если не можешь спрятать, сделай вид, что показал нарочно. Этому меня учил не брат. Этому меня учил первый подрядчик, который обсчитал меня на раскопе под Керном.

Инспектор не поверил. Но и проверить не мог.

— Проезжайте. Мерщик, вы остаётесь при них?

— Мне предписано.

— Тогда запомните. Дальше Ладеня третьего округа нет. Дальше кордон. И там ваши параграфы читают по-другому.

— Параграфы читаются одинаково везде, где умеют читать, — Реддик вскинул подбородок. Потом, кажется, сам испугался своих слов и стал отвязывать мула.

* * *

За Ладенем тракт пустеет.

До города по нему ездят все: обозники, скупщики шерсти, богомольцы к Вескинской весовой. После него остаются казённые фуры и те, кому надо в Затоны, а в Затоны по своей воле ездят мало. Трактиры кончились. Ветряки тоже. Пошли балки: сухие овраги с рыжими осыпями, поросшие поверху колючим тёрном, и тракт то нырял в них, то выбирался на гребень, где дуло так, что у возка хлопал верх.

Седьмого к вечеру мы не дотянули до обозного двора вёрст двенадцать. У левой серой слетела подкова, пришлось вести шагом. Встали в балке, у пересохшего ручья, там, где старый брод выложен плитняком и рядом сохранилась каменная поилка. Место было тихое, закрытое от ветра с трёх сторон. Мне это не понравилось именно тем, чем понравилось бы любому: сюда удобно спускаться сверху.

— Двое не спят, — я оглядел наших. — По полночи. Первая моя и Бора, вторая Никса и…

— И моя, — Адель подняла руку.

— Ты не…

— У меня сто двенадцать щепотей и новые очки. В прошлый раз я стояла в подвале с шестью. Вторая моя.

Я не стал спорить. Костёр развели маленький, под самой осыпью. Серых выпрягли и стреножили у поилки. Возок я развернул оглоблями к броду: если придётся уходить, то туда, на плитняк, где колесо не вязнет.

Реддик встал в ста шагах выше по балке. Он тоже развёл огонь, с две ладони, и сел спиной к нему, лицом к нам. Сапоги снял. Счёты за пазухой.

Тарн писал свою строку, пристроив книжку на колене. Потом спрятал карандаш и долго сидел, глядя на то место под сиденьем, где четыре дня ехала корзина. Привычка искать её глазами у него осталась.

— Квиток при вас? — спросил я.

— В бумажнике. Бумажник на мне.

— Давайте мне.

— Нет, господин Вельд, — он ответил мягко. — Вы сами объяснили мне в Ладене: шкатулку выдадут по квитку и по подписи, сличив её с подписью в книге. Квиток без моей руки стоит столько же, сколько моя рука без квитка. Пусть уж они лежат вместе. Так, по крайней мере, тот, кто захочет получить посылку, будет вынужден взять меня целиком и довезти живым.

Я подумал, что он прав и что это плохая новость. Пока шкатулка ехала в корзине, красть надо было корзину. Теперь красть надо было старика.

Первую половину ночи мы с Бором просидели, не сказав и десяти слов. Он строгал. Я перезаряжал пистолеты: порох на полке за день отсырел, и я менял его дважды, а пальцы правой слушались через раз. Над балкой шли облака. Луны не было.

В полночь я разбудил Никса и Адель и лёг под возок, на попону, не разуваясь.

Проснулся я от свиста.

Не от тех двух нот. Свист был короткий, резкий, в два пальца: так в артели подают «чужие». Потом голос Никса, высокий, злой:

— Сверху! Вельд, сверху, справа!

Я выкатился из-под возка с пистолетом в левой.

Костёр прогорел до углей. В их свете по осыпи, съезжая на пятках, спускались люди. Я насчитал четверых, потом пятого, выше, с лошадьми. Спускались они молча и умело, держась порознь, и в руках у них были не ружья: короткие дубинки и что-то вроде сетей. Брать собирались живьём.

Я выстрелил в ближнего. Кремень щёлкнул, порох на полке зашипел и погас.

— Чтоб тебя!

Бросил, схватил второй, взвёл. Ближний был уже в пяти шагах: широкий, в кожаной куртке, лицо замотано платком до глаз. Я выстрелил ему в ноги. Грохнуло, в балке ударило эхо, серые у поилки заржали и забились в путах. Широкий сел на осыпь и схватился за колено.

Остальные трое не остановились.

Я ошибся в одном, и ошибся с самого начала. Я ставил возок, костёр и людей так, чтобы оборонять поклажу: ящик под сиденьем, мешок, ларец. По привычке. Десять лет у меня крали поклажу. Эти на возок не взглянули. Они разошлись веером и пошли к тому месту, где у колеса, завернувшись в плащ, спал Тарн.

— Писаря! — крикнул я. — Им нужен писарь!

Бор уже стоял. Поднялся от колеса, без дубинки: дубинка осталась в возке. В здоровой руке у него была оглобля, запасная, которую мы везли привязанной снизу. Как он успел её отвязать, я не знаю. Он держал её за середину, одной правой, прижав локтем к боку, и первого, кто подбежал, принял концом в грудь, как принимают на рогатину. Тот сложился.

Второй нырнул под оглоблю и ударил Бора дубинкой по левой, по лубку. Я слышал, как треснула лучина. Бор охнул и осел на колено.

Третий был у Тарна.

Старик проснулся, сел и не понимал. Его схватили за ворот, вздёрнули. Блеснул нож, недлинный, рыбацкий.

— Бумагу, дед. Где бумага с почты?

Он говорил, растягивая «а». Тесский выговор, только не чистый: так тянут слова те, кто выучился у тессцев, а не родился там.

— Свет! — крикнула Адель. — Закройте глаза!

Я успел. Никс, по-моему, нет. Полыхнуло белым, беззвучно, на всю балку, как в трактире у Сухого Брода, только втрое сильней: у неё теперь было чем. Сквозь веки я увидел собственные сосуды. Кто-то заорал. Лошади наверху, у пятого, рванули.

Когда я открыл глаза, в них плавали зелёные круги. Тот, что держал Тарна, тёр лицо локтем, но ворот не выпустил, и нож не выпустил. Он махал им вслепую перед собой.

И перед ним стоял Никс.

Я не видел, как он там оказался. Он был ближе всех, он караулил с той стороны костра. Стоял он пригнувшись, с ножом, и тоже моргал: его ослепило не хуже.

— Пусти деда, — Никс выставил нож.

— Уйди, щенок.

— Он мне самому нужен. Пусти.

Тот ударил на голос. Не Тарна: Никса, сверху вниз, наотмашь. Никс этого не видел. Он смотрел на руку, которая держала ворот.

Тарн видел.

Я до сих пор не знаю, как человек, встающий со стула в четыре приёма, сумел это сделать в один. Писарь не вырывался. Шагнул вперёд, вместе с тем, кто его держал, и поднял руку. Левую. Нож, шедший Никсу в шею, пришёлся ему в предплечье, повыше запястья, и застрял в сукне.

Никс ударил снизу. Рукоятью, под челюсть: Бор учил его в сарае у Корня, что лезвием в драке бьёт дурак. Тесский выговор лязгнул зубами и сел.

— Именем Соляной палаты!

Голос был тонкий, срывающийся и шёл сверху. По балке, в носках, с фонарём в одной руке и с чем-то длинным и блестящим в другой, бежал Реддик. На нём был синий сюртук, застёгнутый криво. Белый кант светился.

— Именем Палаты! Стоять! Нападение на проезжающих по казённому тракту! Я всё вижу! Я записываю!

То, что блестело у него в руке, я разглядел потом. Это была казённая игла в жестяной трубке. В темноте, в вытянутой руке, она сошла за пистолет.

Тот, что бил Бора, оглянулся. Увидел синее.

— Синий, — бандит попятился. И громче, своим: — Синий! Про синих уговора не было!

Я понял его сразу. Ограбить частный возок на пустом перегоне стоит каторги. Поднять руку на мерщика при исполнении стоит верёвки, и ищут за это не околоточные, а кордон, с собаками, до самого моря.

Они ушли так же, как пришли: молча и порознь. Того, которому я попал в колено, подхватили двое. Тесский выговор поднялся сам и, шатаясь, полез по осыпи. Наверху заржали, затопали, и стало слышно, как уходят намётом, в сторону от тракта.

Реддик добежал до костра и остановился. Он дышал ртом. Иглу он всё ещё держал перед собой.

— Я… — Реддик сглотнул. — Я не знаю, что это было. Я никогда… В наставлении сказано: при нападении на тракте мерщик обязан назвать себя и пресечь нападение. Я назвал.

— Вы пресекли. Опустите иглу.

Он опустил. Посмотрел на свои ноги в носках, на угли, на нас и сел прямо на землю.

* * *

Считали потери при фонаре.

Бор сидел у колеса, держа левую правой. Лубок раскололся вдоль. Под ним рука вспухла, но пальцы шевелились: дубинка пришлась по лучине, не по кости. «Второй раз в то же место, — Бор поморщился. — Примета». Я вытесал ему новый лубок из той самой оглобли.

У серой, что стояла ближе к осыпи, было рассечено плечо: кто-то из них, уходя, полоснул, чтобы не погнались. Неглубоко, но в упряжь её теперь дня три не поставишь. Девять дней до Затонов превращались в десять.

Тарн сидел там же, где его держали. Рукав сюртука был разрезан от обшлага до локтя и намок. Он держал раненую руку на весу и разглядывал её с тем же вниманием, с каким читал прейскуранты.

— Левая. Это удачно. Пишу я правой.

Адель уже стояла над ним на коленях, с сумкой.

— Никс. Держи ему руку. Вот так, выше локтя, двумя ладонями, и не давай дёргать.

— Я?

— Ты ближе всех.

Никс подошёл. Постоял. Потом сел рядом на корточки и взял старика за руку: осторожно, как берут чужое. Тарн не смотрел на него. Он смотрел на свои пальцы в чужих ладонях.

— «Запор», — Адель развязала сумку. — Одна щепоть. Кровь я запру, ткань сохраню до лекаря. Шить придётся в Затонах, я не умею шить. Будет холодно и неприятно.

Она высыпала соль на порез, провела ногтем контур, коротко, как подпись. Тарн втянул воздух сквозь зубы. Кровь встала.

— Щепоть, створка, — бросила Адель мне через плечо. — Запиши на расходы по двести восемнадцатому.

— Запишу.

— И «Свет». Я положила шесть вместо четырёх, для верности. Это ещё шесть.

— Ты же богатая.

— Я богатая, а не расточительная.

Никс всё держал. Он заговорил, не поднимая головы, и вышло у него сердито:

— Ты зачем полез?

— Простите?

— Под нож. Он не в тебя бил. Он в меня бил. Ты ему живой нужен, ты сам говорил: рука и квиток. Стоял бы смирно, тебя бы не тронули.

— Я стоял ближе, — Тарн помолчал.

— Чего?

— К ножу. Я стоял к нему ближе, чем вы, молодой человек. На пол-локтя. Мне было удобнее.

— Это не ответ.

— Другого у меня нет. С вашего позволения.

Никс отпустил руку, как только Адель кивнула. Встал, отошёл к костру и долго подкладывал в угли щепки, хотя огонь был уже ни к чему: светало.

Я обошёл балку с фонарём. На осыпи остались борозды от каблуков и тёмные капли. Внизу, у поилки, валялась дубинка, обшитая кожей, с петлёй на запястье. А выше, где они держали лошадей, в тёрне застрял кусок ремня. Обрывок повода, срезанный наспех. На нём было выжжено клеймо, маленькое, с ноготь: волнистая линия и над ней прямая.

Я принёс его к огню. Тарн взглянул и побелел сильнее, чем от ножа.

— Откуда это?

— С их лошадей. Вы знаете клеймо?

— Волна под чертой, — он произнёс это тихо. — Так у нас метили лодки. На Белом озере, перевозчики. Те, что возили соль от варниц к тракту, пока был тракт. Артель звалась «Тихая вода», — он поднял на меня глаза. — Это не тессцы, господин Вельд. То есть говорят они по-тесски, и платят им, вероятно, оттуда. Но клеймо гельтское. Это наши.

— Ваши хотят, чтобы шкатулка не доехала.

— Выходит, так.

— Вы знали?

— Нет. Я восемнадцать лет думал, что там её ждут, — он посмотрел на свою руку, на белую корку соли поверх пореза. — Мне не приходило в голову, что кто-то в городе может не хотеть, чтобы город был.

Реддик сидел у нашего костра, обутый. Сапоги ему принёс Бор. Он раскрыл книгу и не писал. Карандаш стоял над страницей.

— Я должен внести, — Реддик ни к кому не обращался. — Нападение, пятеро, один ранен проезжающими в ногу. Требовали «бумагу с почты». Проезжающие везут нечто, сданное на почту в Ладене, — он поднял на меня глаза. — Теперь я знаю больше, чем хотел.

— Пишите как есть.

— Я и напишу как есть. Я не умею иначе. Но я хочу, чтобы вы понимали, господин Вельд: я это напишу.

— Понимаю. Чаю хотите?

Мерщик подумал и признался, что хочет.

* * *

Утром, когда запрягали уцелевшую серую в одиночку и привязывали раненую к задку, Никс полез на крышу за ларцом: надо было достать книгу расходов, я обещал Адель вписать щепоти, пока не забыл.

Отпер ларец и позвал:

— Вельд. Тут опять.

Плюх спал на книге, как спал вчера и позавчера. Только теперь он лежал, обняв что-то передними лапами, и из-под лапы торчал деревянный хвост.

Я вынул это у него. Он не возражал.

Птица. С мой большой палец, вырезанная из светлого, почти белого дерева, гладкая от рук. Без краски. Хвост с прорезью, в спине две дырочки. Дерево было лёгкое, сухое и на ощупь будто присыпанное мукой; я лизнул палец. Соль.

Свистулька.

Я поднёс её к губам, сам не зная зачем, и дунул, зажав одну дырочку, потом отпустив.

Две ноты. Вниз и вверх, с остановкой.

Никс на крыше возка перестал дышать. Я это видел: Бор научил меня смотреть ему на плечи.

— Дайте, — Тарн протянул здоровую руку.

Я дал. Он повертел птицу, заглянул в прорезь, провёл ногтем по спине. Дунул. Те же две ноты, только чище: он попал сразу. Так, как свистел на козлах четыре дня подряд.

Он отнял её от губ и держал на ладони, далеко от себя.

Позади меня что-то упало. Тарн выронил узелок.

Он стоял у подножки, с рукой на перевязи, и лицо у него было такое, что Адель шагнула к нему с сумкой.

— Это из шкатулки, — Тарн не сводил глаз с находки.

— Шкатулка в почтовой карете, — я покачал головой. — Под двумя печатями. В сорока вёрстах впереди нас.

— Это лежало в шкатулке. Под грамотой, в углу, завёрнутое в платок. Я положил её туда сам, в восемьдесят седьмом, — он сглотнул. — Вы спрашивали, господин Вельд, что значит «почти ничего». Вот это.

— Чья она?

Тарн ответил не сразу. Смотрел не на меня и не на птицу. Смотрел на Никса, в первый раз за все эти дни прямо, не отводя глаз, и я понял, что Бор был прав: так глядят на того, кто лезет на крышу.

— Моего сына, — голос у Тарна не дрогнул. — Ему было три года. Он оставил её на подоконнике в тот день, когда я уезжал, и я сунул её в карман, чтобы отдать, когда вернусь.

Ветер шевелил тёрн наверху. Серая переступила.

Никс протянул свистульку мне. Быстро, на вытянутой руке, как отдают горячее.

— Игрушка, — голос у Никса был обыкновенный, только выше, чем всегда. — Таких, поди, в каждом доме было.

— В каждом, — согласился Тарн. Сразу, без паузы, и я услышал, чего ему это стоило.

— Их резал один мастер, на Нижней варнице. Из просоленной липы, она не гниёт. У всех по две дырочки, и все дети в городе свистели одно и то же, потому что из двух дырочек больше ничего не высвистишь, — он наклонился, поднял узелок здоровой рукой. — Вы правы, молодой человек. Это ничего не значит.

Никс слез с крыши. Он прошёл мимо нас к лошади и стал затягивать подпругу, которая была затянута.

Адель тронула меня за рукав.

— Рик. Формулировка.

— Что?

— «Не вскрывая». Мы обязались доставить, не вскрывая. Из неё вынуто.

— Вынул не я.

— Вынул твой инвентарь. Клиент вправе…

— Клиент не возражает, — Тарн поправил перевязь. — Клиент просит только об одном. Положить её обратно тем же способом вы, как я понимаю, не можете.

— Он не понимает просьб, — Адель развела руками.

— Тогда пусть она едет отдельно. И пусть её везёт… — он остановился. Выговорил ровно: — Пусть её везёт молодой человек. У него надёжные карманы, я заметил.

— Не надо мне, — буркнул Никс от лошади, не оборачиваясь.

Я подошёл к Никсу. Тот смотрел на подпругу.

— Это не подарок, — я протянул ему свистульку. — Это инвентарь по поручению номер двести восемнадцать, под расписку. Вынуто из отправления, подлежит возврату адресату. Ты специалист по доступу, у тебя ничего не пропадает.

— У меня напёрсток пропал.

— Потому и даю. Второй раз ты не уснёшь.

Он взял. Не глядя, сжал в кулаке. Потом расстегнул куртку и сунул птицу во внутренний карман, слева, туда, где раньше носил напёрсток Щегла.

До полудня он правил один и не свистел.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.